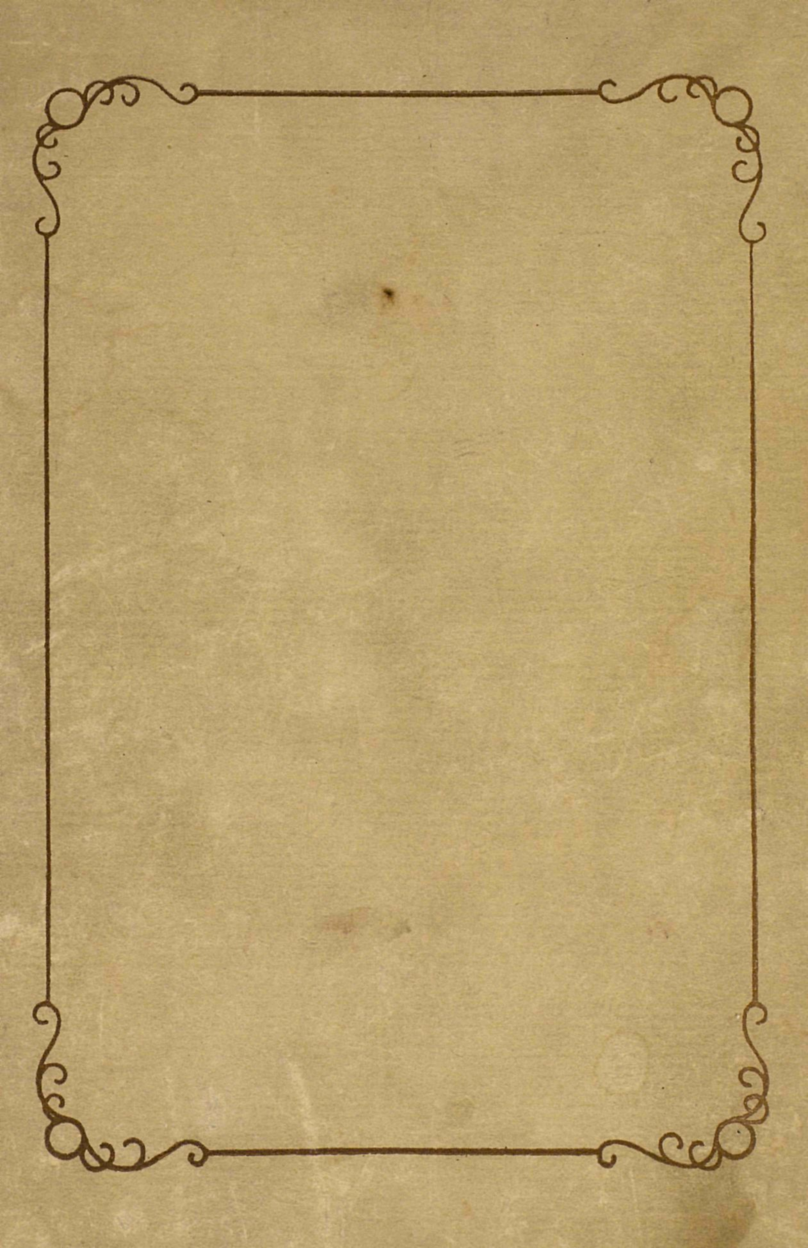




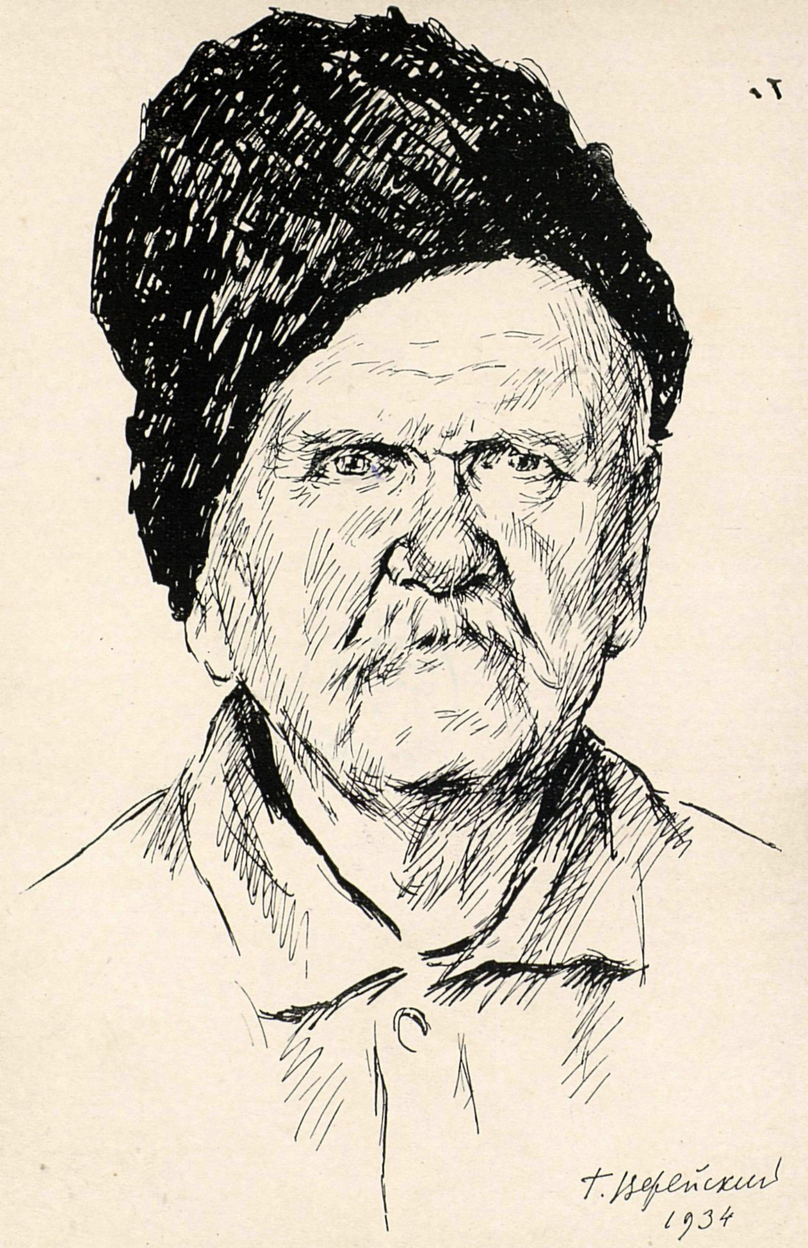



34-2
741
166/57


СОВЕТСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА


557


Гос.
Публичная
Библиотека
в
Ленинграде


Г. Верейский
1934

В. ГИЛЯРОВСКИЙ

ДРУЗЬЯ и ВСТРЕЧИ

СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
19 МОСКВА 34

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

СТАРОГЛАДОВЦЫ

I

Сырым осенним утром на усталой кляче ночного извозчика-старика, в ободранной пролетке я тащился по безлюдным переулкам между Пречистенкой и Арбатом. Был девятый час утра. Кухарки с корзинками, полными провизии, семенили со Смоленского рынка; два приготовишки неторопливо путались в подолах своих серых шинелей, сшитых с расчетом на рост... На перекрестке, против овощной лавки, стояла лошадь в телеге на трех колесах; четвертое подкатывал к ней старичок-огородник в белом фартуке; другой, плотный, бородатый мужчина в поношенном пальто, высоких сапогах и круглой драповой шапке, поднимал угол телеги. Дело, однако, не клеилось. Толстая лавочница, стоявшая у двери в лавку, равнодушно лущила подсолнухи, выплевывая скорлупу на узенький тротуар. На земле валялся картофель, выпавший из телеги, — а ей и горя мало! Лущит да поплевывает. Я спрыгнул с пролетки, подбежал, подхватил ось, а старателя в драповой шапке слегка отодвинул в сторону:

— Пусти, старик, я помоложе!

Я поднял угол телеги, огородник ловко накатил колесо на ось и воткнул чеку. Я прыгнул обратно в пролетку. Поехали.

Мой извозчик, погоняя клячу, смеялся беззубым ртом и шамкал, указывая кнутом назад:

— Граф-то как старается!

— Какой граф?

— Да вон, у телеги.

Я оглянулся.

Оба старика подбирали с мостовой картофель. Лавочница попрежнему лущила семечки.

— И чего только ему надо? К нам в Дорогомилово приходил надысь работать. Наш хозяин, Козел, два пятерика дров купил, свалил их на улице и нанял нас перетаскивать во двор и уложить в поленницы, а граф тут как тут: давайте, говорит, ребята, я помогу... Мы дрова таскаем, а он укладывает. Поработал и денег не взял. Потом наши ребята его видели на Красном лугу,—с золоторотцами из Аржановки тоже дрова укладывал...

Старик болтал всю дорогу, пока я не отпустил его на Арбате. Но, и получив деньги, он все продолжал говорить:

— Свой дом в Хамовницком переулке, имение богатое... Настоящий граф,—Толстов по фамилии...

Я тогда не обратил внимания на слова старика и тотчас забыл о них.

Прошло два года. Я работал в «Русских ведомостях». Они еще помещались в наемной квартире, в доме Мецгера, как раз на переломе несуразного Юшкова переулка между Мясницкой и Сретенкой. Редакция помещалась в доме, выходящем на улицу, а типография занимала большой корпус в глубине двора. Вот туда-то я и шел, чтобы сдать в набор заметки, так как происходило это утром, тогда в редакции обычно никого не бывало. Впереди меня к редакционному подъезду подошел плотный человек в поношенном драповом пальто, высоких сапогах и драповой шапке, както знакомо нахлобученной. И вся фигура сзади показалась мне знакомой: видал где-то! Человек входил в подъезд, когда я шел мимо. Затворяя дверь, на миг он повернулся, и я увидал бородатое лицо. Где я его видел? Пробыв ми-

нут пять в типографии, я забежал в редакцию посмотреть газеты. Швейцар в очках читал «Московский листок».

— Никого еще нет?

— Никого. Вот сейчас только Лев Николаевич заходил, спрашивал Василия Михайлыча.

— Кто?

— Граф Толстой... Да как вы его не встретили? Сей минут вышел.

А! Так вот кому я когда-то помог колесо надеть!

Я совершенно забыл об этой встрече, да и думать никак не мог, что знаменитый писатель ходил в Дорогомилово дрова в пятерики укладывать и одевался так бедно. Я полагал, что он живет в своей Ясной Поляне, и не знал, что, когда мы встретились, он уже переехал в Москву.

Познакомился я со Львом Николаевичем уже в собственном доме редакции, в Чернышевском переулке, и потом встречался не раз, но, конечно, никогда не напоминал о первой встрече. Раза два по утрам я встречал его, всегда одного, на утренних прогулках. Зная мое прошлое по рассказам и очеркам в «Русских ведомостях», он всегда меня расспрашивал о бурлацкой жизни, о степях, об охоте на Кавказе.

Как-то — это было в конце девяностых годов — я встретил Льва Николаевича на его обычной утренней прогулке у Смоленского рынка. Мы остановились, разговаривая. Я шел в редакцию «Русской мысли», помещавшуюся тогда в Шереметьевском переулке, о чем между прочим и сообщил своему спутнику.

— Вот хорошо — напомнили; мне тоже надо туда зайти.

Пошли. Всю дорогу на этот раз мы разговаривали о трущобном и бродяжном мире. Лев Николаевич расспрашивал о Хитровке, о беглых из Сибири, о бродягах. За разговором мы незаметно вошли в редакцию, где нас встретили редакторы: В. М. Лавров и В. А. Гольцев.

При входе Лев Николаевич мне сказал:

— Я только на минуточку.

И действительно, хотя Лавров и Гольцев просили Льва Николаевича раздеться, но он, извинившись, раздеться отказался и так и стоял в редакции в шапке с повязанным сверх нее башлыком.

Весь разговор продолжался не более двух-трех минут, и мы вышли.

День был морозный, что-то около двадцати градусов, у Льва Николаевича заиндевела борода.

— А у меня к вам просьба. Вы этот мир хорошо знаете, и я даже думал о вас и очень рад, что мы встретились. Дело в следующем: я получил на этих днях очень интересную рукопись из Сибири: арестант один рассказывает о своей жизни... Очень занимательно и литературно написано. Просит напечатать и, конечно, желает что-нибудь получить. Я прочел рукопись внимательно, но мне некогда заняться ей как следует. Просмотрите ее и отдайте куда-нибудь в газету. Если заплатят ему рублей десять-пятнадцать, и то хорошо.

Рукопись на следующий день принес мне сын Льва Николаевича, Андрей Львович. Я внимательно прочел ее. Она имела дату: «18 октября 1899 г., Каинск. Томской губ.», в начале и конце было обращение ко Льву Николаевичу, а посредине помещалась интереснейшая исповедь арестанта Лизгаро.

Внизу последней страницы стояло три адреса: самого Лизгаро — Каинский острог; жены его, Беляевой-Лизгаро, — Таежная, и г-жи Л-й — Каинск, для передачи Лизгаро.

Обращение к Льву Николаевичу заканчивалось словами:

> Согласен все то, что изложено, пустить в печать; если нужно, переделать и исправить, изменить фамилии действующих лиц, пишу с целью материальной поддержки голодающей семье.

Прочитав рукопись Лизгаро, о деяниях которого я слыхал раньше, я на следующий же день переслал ему двадцать пять рублей, упомянув в письме, что рукопись получил от Льва Николаевича, а сам отправился к Толстому и сказал об этом, отдав почтовую квитанцию.

— Зачем вы сами это сделали? И так много вдобавок! Лучше бы напечатать. Интересно!

Я кое-что знал о Лизгаро и ответил Льву Николаевичу, что в письме слишком многое присочинено и обо многом недосказано.

— Все равно — интересно прочиталось бы. Во всяком случае, очень вам благодарен. Да ему, думаю, больше ничего и не нужно, кроме денег.

И Лев Николаевич оказался прав. Вскоре я получил от Лизгаро из тюрьмы благодарственное письмо, из которого было видно, что он очень доволен, о чем я и сообщил Льву Николаевичу.

— Я был в этом уверен, — сказал он и добавил: — А все-таки когда-нибудь напечатайте!

Украинский ученый, исследователь Запорожья, Д. И. Эварницкий тогда читал в Московском университете «историю Малороссии» и часто просил меня:

— Ты знаком со Львом Николаевичем Толстым, бываешь у него, сведи меня когда-нибудь к нему. Моя заветная мечта—повидать его.

И вот однажды, после такой просьбы, я предложил ему поехать сейчас же, — было около семи часов вечера, — но он отказался:

— Надо его предупредить, а то вдруг так, сразу.

Но я уговорил Эварницкого, и через полчаса мы были уже в хамовническом доме и поднимались наверх, послав заранее визитные карточки.

Мы вошли в кабинет. Лев Николаевич встал с кресла, поднял руки кверху и, улыбаясь, сказал:

— Вот они, запорожцы! Здравствуйте!

Мы просидели более часа. Эварницкий заинтересовал Льва Николаевича своими рассказами о Запорожье. Лев Николаевич в свою очередь припоминал о своей жизни у гребенских казаков, а потом разговор перешел на духоборов и штундистов. Последних Эварницкий знал очень хорошо.

Но мне слушать этот совершенно не интересный для меня разговор было скучно. Я вынул табакерку — хлопнул двумя пальцами по крышке, открыл и молча предложил Льву Николаевичу. Он тоже молча взял табакерку у меня из рук, заправил изрядную щепотку в свой широкий нос — в одну и тотчас же в другую ноздрю, склоняя при этом голову то вправо, то влево, и громко чихнул. Эварницкий, перебитый должно быть на самом интересном месте своего повествования, удивленно посмотрел на него, но Лев Николаевич уже оправился и, закрыв табакерку, проговорил:

— Ну и крепок!

Он снова чихнул в платок и обратился к Эварницкому:

— Я ведь только у него и нюхаю. Очень табак хорош! Боюсь, как бы не привыкнуть...

И снова чихнул, затем передал мне табакерку, погладив ее, как всегда, по крышке, и опять обратился к Эварницкому:

— А знаете, профессор, если бы все курильщики бросили курение и перешли на нюханье — наполовину бы у нас меньше пожаров было и вдвое больше здоровых людей...

Как-то раз я встретил Льва Николаевича на Моховой. В это время «Общество искусств и литературы», вылившееся потом в Художественный театр, ставило в Русском охотничьем клубе чеховские одноактные пьесы. Лев Николаевич указал мне афишу на столбе:

— «Медведь» Чехова! С каким бы удовольствием я посмотрел его пьески — да не хочется в клуб итти на спектакль.

— А вы на репетицию. Как раз завтра его пьесы репетируют, меня Арбатов вчера приглашал.

— Да, но у меня знакомых там нет. А пошел бы...

— Позвольте мне завтра заехать за вами к семи часам вечера?

И вот на следующий день я велел моему постоянному извозчику Дунаеву подавать к шести часам вечера. Надо сказать, что Ваня Дунаев ездил со мной помесячно. Извозчики звали его Ванька-Водовоз за необыкновенную силу, а я называл его Берендей потому, что он был из Пятницы-Берендеево, самой извозчичьей подмосковной местности. Я ездил с ним на рискованные репортерские приключения по разным трущобам совершенно спокойно: малый был удалой и всегда трезвый, потому что его ничем нельзя было споить...

Он бывал со мной на скачках и бегах, знал всех лошадей и любил о них поговорить.

Вышел я и увидал: лошадь новая, крупный орловский рысак, только очень подержанный: передними ногами тронут — козинец, колена дрожат.

— Это откуда?

— Новокупочка. Сегодня с Конной, в перворяд запряг... С бусырью малость,—а резов. Бессекундный!.. На бегах ходил, аттестат есть с гербом!.. Прямо по нашей езде: урвать да уехать... Сто двадцать дал. Двадцать задаток, а останные по понедельникам.

Тогда московские барышники продавали в долг извозчикам лошадей с уплатой по пяти рублей каждый понедельник и наживали за эту рассрочку пятьдесят процентов.

Выбрались мы на Тверской бульвар — и понеслись. Огромный, мешковатый Ванька-Водовоз из простого погонялки преобразился в лихача. Лошадь держит на коротких

вожжах, руки вытянул и только покрикивает, чтоб дорогу давали.

Через десять минут мы были в Хамовническом переулке. Повидимому, нас ждали — дворник тотчас же отворил ворота. Меня провели в столовую, где вся семья была в сборе. Все пили чай, но Льву Николаевичу не дали, чтобы не простудился.

Он ел гречневую размазню.

Софья Андреевна все меня уговаривала ехать поосторожнее.

— Будьте спокойны, и назад привезу,—успокаивал я.

— Нет, об обратном пути не беспокойтесь, за ним дети заедут.

Провожать нас высыпали все в переднюю. Стали одевать Льва Николаевича. Начали с валеных калош, потом теплый тулуп, подпоясали, подняли воротник, нахлобучили теплую шапку, повязали сверху башлык. Получилась фигура необъятная, а санки у меня были полулихацкие, узкие и притом без полсти. Мне ездить с полстью было неудобно, так как то-и-дело приходилось соскакивать с саней, а холода я не боялся. Мой Берендей был единственным извозчиком во всей Москве без полсти, даже при обер-полицеймейстере Власовском, который ввел одинаковую «форму» для извозчиков и их экипажей и между прочим требовал, чтобы у всех саней имелась полсть. Полиция беспощадно штрафовала нарушителей этих правил. Мне пришлось лично ездить к Власовскому, чтобы сняли с моего Дунаева штраф и разрешили ему ездить со мной без полсти. Штраф Власовский приказал снять, но ездить без полсти так и не разрешил, найдя впрочем чисто полицейский, хитроумный выход:

— Нарушить свой приказ не могу: полсть обязательно должна быть на санях. Но вы можете не употреблять ее, пусть ваш извозчик сидит на ней...

И Ванька очень гордился, что он ездит без полсти, а другие извозчики ему завидовали.

Уступил я Льву Николаевичу три четверти сиденья, а сам кое-как примостился и полувисел в воздухе, крепко обняв талию в необъятном тулупе.

Летим переулком, Лев Николаевич сквозь шарф и воротник бурчит:

— Это только в Москве такое приличие... Ездят обнявшись. То-и-дело видишь—облапит даму, и катят...

Не успел он договорить, как мы выскочили рысью на Девичье поле и — прямо в ухабы! Тах!.. Тах!..

— Ну что, Лев Николаевич, если б я вас не обнял?..

— Да, вы правы, только уж очень быстро мы едем. Я люблю быструю езду... но это слишком!

— Ваня, как зовут твою лошадь?

— Птичок... Потому мать его была Птичка... В аттестате прописано.

— Ну, так с сегодняшнего дня зови его не Птичок, а Холстомер. В память того, что Льва Николаевича возил... У него есть «Холстомер».

Лев Николаевич что-то забурчал, но я не мог разобрать его слов.

Через несколько минут запаренная лошадь стояла, дрожа коленями и шпатуя задней ногой, на полукруглом возвышении перед подъездом — и швейцары клуба в казакинах и бараньих папахах с красным верхом высаживали, вводили почетного гостя и распаковывали его.

Я шепнул конторщику, чтобы он передал актерам, Арбатову или Лужскому, что я привез Льва Николаевича.

А он жал мне руку, что-то хотел сказать, а потом уставился на выстроившихся около вешалок швейцаров: рослые, красивые, в черных мохнатых папахах.

— Какие молодцы! Ну прямо Старогладовцы!

Мы вошли в приемную. Из зала высыпали артисты и с великим почетом приветствовали неожиданного и дорогого гостя.

II

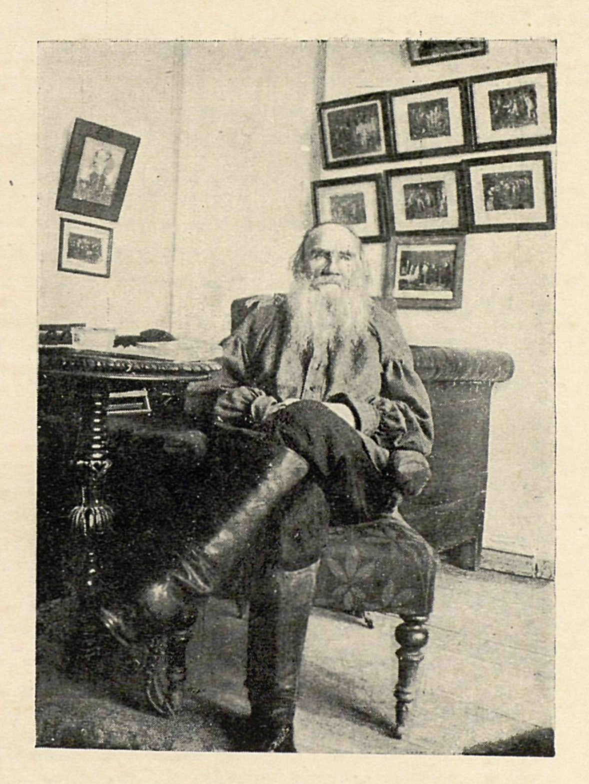
Пребывание Льва Николаевича Толстого в дни его юности в гребенских казачьих станицах, впечатления, рожденные в широкой вольной душе особыми условиями боевой и свободной жизни среди опасностей и патриархальной простоты казачества, ярко отразились на всем его последующем творчестве. Вспомним его произведения «Казаки» [1], «Набег», «Рубка леса» и «Встреча в отряде». Вечное его стремление опроститься зародилось там же, в этих станицах, среди самобытных людей. Я думаю, что и умереть ему хотелось там же.

Недаром ведь, когда через шестьдесят лет после того, как он жил в этих местах. Толстой ушел из Ясной Поляны, покинул роскошь, славу и почет, железнодорожный билет, найденный в его кармане, был до Владикавказа: он стремился в казачьи станицы! Там, на воле, в жизненной простоте, в тихой пустыне, он искал, видимо, последнего покоя... Эти глухие станицы гребенские до самой революции хранили старинный уклад во всей его неприкосновенности, с казачьими обычаями и той простотой быта, которые так ярко описаны Л. Н. в его чудесной повести «Казаки».

Мне посчастливилось найти человека, который помнил Льва Николаевича, когда тот жил в Старогладовской станице.

И вот его-то рассказы я вполне точно и передаю здесь. Это единственный современник, который мог что-либо рассказать о жизни Льва Николаевича в то время, когда на

[1] Повесть «Казаки» была напечатана в «Русском вестнике» совершенно неожиданно. Лев Николаевич в московском Английском клубе проиграл какому-то гвардейскому офицеру на китайском биллиарде тысячу рублей. Денег не оказалось, платить было нечем. В это время подошел к нему редактор «Русского вестника» М. Н. Катков и дал для расплаты тысячу рублей, получив за это от Льва Николаевича повесть «Казаки».



Л. Н. Толстой в 90-х годах.



него обращали внимания столько же, сколько на всякого юнкера, стоявшего со своей частью в станицах. А там солдат недолюбливали, особенно — в гребенских станицах, населенных старообрядцами своеобразно строгой жизни, соблюдавшими свои обычаи и верования.

В своем письме к гр. Сергею Николаевичу Толстому от 23 ноября 1853 года Лев Николаевич, между прочим, упоминая о своем брате Николае, который увез из станицы гончих собак, говорит:

«Мы с Епишкой часто называем его за это «швиньей».

Этот Епишка, неразлучный друг Льва Николаевича, удалец-казак былых времен, и есть тот самый Ерошка, который выведен как живой в повести «Казаки». И тот сверстник Льва Николаевича, о котором я говорю, хорошо помнил Епишку и много мне о нем рассказал.

Эту встречу я записал подробно в Ессентуках в 1910 году и здесь передаю в том виде, как я набросал ее тогда под свежим впечатлением:

Ессентуки, 19 июня.

Редко бывают такие встречи. Давно обратил мое внимание старый терец, офицер с солдатским георгием и кавказским крестом. Мы разговорились. Оказался исконный гребенской казак Кирилл Григорьевич Синюхаев, родом из Старогладовской станицы. Я знал, что это и есть та самая Новомлинская станица, которая описана в повести «Казаки».

Я помню, что несколько лет назад к Льву Николаевичу приезжал гребенской казак-офицер, — но то был молодой человек, а мой собеседник — однолеток Льва Николаевича, ему далеко за семьдесят, но это бодрый энергичный старик, на вид гораздо моложе своих лет.

Гляжу на него и радуюсь: голова белая, как снеговая вершина, а сам сухой, стройный, как тростник. Заговорили о Льве Николаевиче.

— Как же! Я очень, очень хорошо помню Толстого. В 1845 году к нам в станицу перебрались старообрядцы с Украины и полстаницы новой построили. Так он сначала по приезде поселился в новой, а потом к нам перешел. У нас стояла двадцатая артиллерийская бригада, в ней его брат был офицером. Только он с братом не жил, а отдельно, у казака Сехина квартировал. У нас много Синюхаевых и Сехиных, и все родня меж собой. Так Толстой — у нас его все Толстов звали, — поместился у богатого Сехина, а рядом жил другой брат Сехина, друг Толстого, дядя Епишка, охотник и джигит, каких теперь нет да и прежде едва ли где другой такой отыскался. Знатный казак был дядя Епишка. Жил он одиноко, со своими собаками да ястребами и с разным зверьем прирученным, — у него в хате так они и помещались. Любили и уважали его все вокруг, да не то что мы одни, а и чеченцы и ногайцы... К немирным в аулы, бывало, хаживал, и везде его принимали, как почетного гостя. А говорил он всем одно и то же: «Все живем, а потом умрем. Люди не звери,—так и драться людям не надо. Вот зверя — того бей!» Так и жил он: либо на охоте, либо с балалайкой. В праздник разрядится, бешмет красный шелковый наденет—немирные князья Гиреи подарили, — чувяки и ногавицы, серебром расшитые. Папаха у него была волчья или лисья, каких кроме него никто не носил. И обязательно с балалайкой и без оружия. Ростом в сажень, силищи непомерной. Каким я-то его помню, — так ему уже под семьдесят было. А выпьет, бывало, чихиря[1] с полведра да в хоровод—поет и пляшет. А как плясал! «Дядя Епишка, еще, еще!» — просят его. — «А нука, швинья, тащи чапуру чихиря». — Принесут, выпьет — и опять поет и пляшет да на балалайке звенит. Такой Епишка в праздник бывал. А в будни — суровый, ни с кем слова не скажет. Тогда носил он старый бешмет, козловой кожи штаны, поршни буйволовые, папаху старую волчью, на плечах шкуру звериную вверх шерстью, а в руках у него

[1] Молодое красное вино.

была всегда винтовка с золотой насечкой, — промаха он из нее по зверю никогда не делал. В те времена порох и свинец были дороги, состязаний в стрельбе не устраивали, ну да и промахов не давали...

Мимо нас в эту минуту проходил огромный, широкоплечий кубанец.

— Куда повыше и пошире его был дядя Епишка! — сравнил рассказчик. И тут смог я представить себе, какой в самом деле был богатырь этот друг Льва Николаевича...

— И кроме охоты ничем он не занимался. Был у него и крест георгиевский, но никогда он его не надевал, а носил только засаленную ленточку на старом бешмете, да и то так, чтобы людям видно не было, для себя носил ее. О прежних своих отличиях не любил говорить, а старики про него чудеса рассказывали: славный был джигит, но потом от войны отказался: почему — никто не знал.

Веселый, мягкий был человек. И никого никогда ни словом, ни делом не обижал, разве только швиньей бывало назовет. Со всеми дружил и всем говорил «ты». Никому не услуживал, а любили его все. Слушать его рассказы, песни сбегалась вся станица. Голос сильный, звонкий. На станичные сборы не ходил, общественных дел не касался: «Я сам по себе. Я одинец», — знал лишь свое ружье, охоту, сети, попить да погулять. Для одного Толстого только и делал исключенье,—любил его. Кунаки были, на охоту с собой никогда и никого кроме Толстого не брал. Бывало у своей хаты варит кулеш, на камешках казанок стоит, и Толстой тут же сидит, — варят кулеш и вдвоем едят. Или идут с Толстым вдвоем с охоты — оба дичью увешаны, сумки набиты, за плечами ружья и шаталы [1]. Походка легкая — а в самом пудов десять веса! На коне, как я его помню, никогда дядя Епишка не ездил, всегда пешком ходил. Говорил по-кумыкски, по-ногайски, у немирных князей Гиреев в гостях бывал, и все его любили, даже при нем марушки чадрой не закрывались. Горцы с ястребами охо-

[1] Шаталы — рогатки, на которые ставят ружья для прицела.

тились, — так дядя Епишка вынашивал ястребов и продавал им за большую цену.

— Скажите, Кирилл Григорьевич, а вы хорошо помните Толстого?

— Как сейчас вижу.

— Вы помните повесть «Казаки»?

— Чуть не наизусть. Ведь мы все ею зачитывались... Так и говорили: «Пишет наш Толстов».

— С кого он писал Лукашку?

— Лукашка был у нас сапожник. А того джигита не Лукашкой звали. Забыл я его имя... Да ведь тогда все у нас такие, как Лукашка, были,—все такие джигиты.

— А Марьяна?

— Не так давно умерла...

Потом стал он вспоминать дальше:

— Помню я, у Толстого в конюшне были хорошие лошади — гнедая и чалая. Выведут, разгорячат лошадь, а он вскочет на нее и скачет по станице... Лихой джигит был. Только ведь потому все и обращали внимание на Толстого, что он джигит был да с дядей Епишкой дружил, а то разве знал кто, что он такой будет после! У меня-то в памяти еще потому, что мы жили рядом... Помню, он сначала у Глушка на Новой улице жил, а потом к Сехину, родному брату дяди Епишки, переехал, к Михаилу Петровичу. А это рядом с нами. Потом уж, когда Толстой офицером был, рассказывали, что он в набегах отличался. За старый Юрт ходил со своей батареей, потому о нем тогда и говорили. А если не был бы джигит, кто бы на него внимание у нас обратил?

— Кто-нибудь, кроме вас, в станице помнит Льва Николаевича?

— Едва ли. Разве Ергушевы. Так уж ему, старому, больше восьмидесяти лет.

— Знакомая фамилия Ергушев. В «Казаках» ее упоминает Лев Николаевич.

— Ну да, — который пьяный-то казак лежит. Это он

с натуры взял и настоящей фамилией назвал. Любитель выпить был Ергушев... Родственник наш.

— Скажите, Кирилл Григорьевич, в станице узнали после, какой Толстой жил у вас?

— Конечно. Давным-давно, после первых произведений. И книги его все читали, и в школах о нем говорили... Да вот мой племянник Сехин, сын Михаила Сехина, родной племянник дяди Епишки, к Толстому в Ясную Поляну ездил, портрет с надписью для станицы от самого получил, только у него украли дорогой портрет этот.

— Как же это было?

— А уж это пусть сам Дмитрий расскажет. Он теперь служит в Кизляро-Гребенском полку. Вы можете повидать его хоть завтра, около Пятигорска, он под Юцой в лагере стоит. Кланяйтесь ему от меня...

III

Рано утром я приехал в лагерь под горой Юцой, верстах в шести от Пятигорска, и попал на ученье Екатеринодарского полка. Жара была невыносимая, пыль непроглядная. Ученье окончилось к полудню, и, пока расседлывали коней и готовились к обеду, я воспользовался перерывом и отправился к Дмитрию Михайловичу Сехину.

Полки расположились рядом. Гребенцы уже вернулись с ученья, и я нашел Сехина в палатке. Вышел ко мне красавец-казачина с огромными усищами, в синих шароварах «шире Черного моря», в белой рубахе и огромной черной папахе. Он был весь покрыт пылью — еще умыться не успел.

— Я Сехин; вам меня? — сурово спросил он.

— Дмитрий Михайлович?

— Да, это я! Вам что угодно будет?

— А я к вам от Кирилла Григорьевича.

Я назвал свою фамилию. Оказалось, что Сехин знает

меня, как литератора. Он пригласил меня в палатку, и я передал ему наш разговор с Синюхаевым и цель моего приезда.

— Ну, что же, я все вам с радостью расскажу. Эта встреча с великим Львом Николаевичем незабвенна, это лучшая минута моей жизни.

С его разрешения я вынул записную книжку, строки из которой и воспроизвожу сейчас.

— В Ясную Поляну я приехал 21 февраля 1908 года. Въезжаю. Снег. Аллея. Идут два мужика. Гляжу—один из них Лев Николаевич. Я спрыгнул с саней, подбежал, — а он в снег свернул, лошадям дорогу дает. Подошел я, поклонился и говорю:

— Лев Николаевич! Необыкновенный случай: пятьдесят пять лет спустя внук за деда делает вам ответный визит.

Лев Николаевич не понял и строго посмотрел на меня. Я повторил мои слова.

— А! Палкин? — спросил меня Лев Николаевич.

— Нет, не Палкин, а внук дяди Ерошки.

Насупился Лев Николаевич, стоит и вниз глядит.

— Какого Ерошки?

— Того самого, у которого вы пятьдесят пять лет назад в гостях бывали, с которым охотились и которого в повести описали.

— Епи-ишки? Вот оно! — и лицо Льва Николаевича просияло. — Да не может быть! У Епишки и детей-то не было!

— А был брат Михаил Петрович, — я его сын, Дмитрий Михайлович Сехин.

— Сехин! Сехин!

Руку мне протянул и крепко пожал.

— А вы кто? Ротмистр? — и посмотрел на мою военную шинель.

— Нет, я войсковой старшина.

— А, значит подполковник. Ну пойдемте.

Он повернул к дому, а потом вдруг сказал:

— Да вы садитесь в сани! Поезжайте ко мне и скажите Илье Васильевичу, что мне надо еще десять минут погулять.

Я передал слова Толстого Илье Васильевичу, который и принял меня, поместив в комнату внизу. Через десять минут Илья Васильевич позвал меня наверх. Там были Горбунов-Посадов, Гусев и две переписчицы. Лев Николаевич вышел с сияющим лицом и отрекомендовал меня:

— Позвольте представить племянника моего дяди Ерошки.

И он начал меня расспрашивать о станице, вспоминая виденное им:

— А камышевые крыши еще есть?

— Есть.

— А сверстники мои живы?

— Ергушев Иван Варфоломеевич еще жив.

— А чихирь тот же? Какой прекрасный напиток! А рыбка шемайка?

— Мало, да притом очень измельчала.

— Жаль, жаль! А я отлично все помню: и Старогладовскую, и старый Юрт! Горы — какая красота! Терек! Степи! Вот где настоящая жизнь. А Лукашка, брат Михаила Алексеевича! Да, да! все помню. А как дом, где я жил? А дом Бабенковых, где жил брат Николай?.. А епишкина хата?

— Все перестроено.

Лев Николаевич встал и сказал мне:

— Вот вам Гусев, расскажите ему.

Он вышел, но через пять минут вернулся, сел радостный и все вопросы о старине задавал.

— Забывчив вообще я стал. Но что тогда было — все помню!

Он опять встал и ушел, а через несколько минут позвал меня в кабинет. Я стал прощаться.

— Садитесь, куда вы торопитесь? Я еще не успел с вами поговорить...

— Но, ваше сиятельство...— начал было я, но Лев Николаевич перебил меня:

— Зачем так?..

— Как же мне вас звать? Звать Лев Николаевич — уж очень будет фамильярно.

— А вы меня по-гребенскому.

— Да у нас тех, кто старше тебя, зовут, как, помните, дядю звали: дядя Епишка.

— Стало быть, и зовите: дядя Левка. Это очень, очень почтенно! — он засмеялся ласково-ласково.

Я попросил у Льва Николаевича для Старогладовской школы его портрет.

Он достал портрет и надписал:

«На память Старогладовцам Лев Толстой».

Я уехал обласканный, счастливый. Но дорогой случилась беда: у меня украли чемодан, а вместе с ним и портрет.

Довелось мне разыскать на Кавказе и еще одного старика-генерала, служившего в дни юности в одной батарее со Львом Николаевичем. Но от него я добился только одной фразы:

— Как же с!.. Мы оба с ним имели честь служить в одной батарее, славный был офицер.

АНТОША ЧЕХОНТЕ

О встречах в моей юности я начал писать через десятки лет. Они ярко встали передо мной только издали. Фигуры в этих встречах бывали крупные, вблизи их разглядеть было нелегко; да и водоворот жизни, в котором я тогда крутился, не давал, собственно, возможности рассмотреть ни крупного, ни мелкого.

В те времена героями моими были морской волк Китаев и разбойничий атаман Репка. Да и в своей среде они выделялись, были тоже героями. Вот почему и писать о них было легко.

Не то — Чехов. О нем мне писать не легко. Он вырос передо мной только в тот день, когда я получил поразившую меня телеграмму о его смерти и тотчас же весь отдался воспоминаниям о нем.

Познакомился я с ним, когда он был сотрудником мелкой прессы, строчившим ради заработка маленькие этюдики и разбрасывавший их по мелким изданиям. Мы вместе с ним начинали в этих изданиях,—он писал сценки, я — стишки и тоже сценки да еще репортерствовал, что давало мне в те времена больше, чем его рассказики, мало заметные первое время.

Сперва у нас были мимолетные встречи, а потом началась дружба. Я полюбил Антошу, и он меня любил до

конца жизни, хотя последнее время мы и отдалились друг от друга.

В те годы, когда он еще ограничивался мелкими сценками, еще до издания его книжки «Сказки Мельпомены», я уже занял в «Русских ведомостях» солидное положение и, кроме репортажа, печатал статьи и фельетоны.

«Русские ведомости» считались «большой прессой», и Чехов появился в этой газете только в 1893 году, после того как печатался в 1892 году в «Русской мысли» и в 1888 году в «Северном вестнике», где была помещена его «Степь», которая произвела на меня огромное впечатление. И впоследствии этот рассказ был у нас с ним одной из любимых тем для разговоров. А до «Степи» он был для меня только милым Антошей Чехонте, рассказов которого, разбросанных по газетам и журналам, я почти и не читал — в кипучей репортерской жизни не до чтения было, да и не все газеты и журналы попадали мне в руки.

«Сказки Мельпомены» и подаренные им мне «Пестрые рассказы» меня не заинтересовали, все это было так знакомо и казалось мелочью.

Первое, что осталось у меня в памяти — это «Каштанка», да и то тут была особая причина.

Как-то раз я вернулся из поездки домой, и мне подали «Новое время»:

— Прочитай-ка насчет Каштанки.

Заглавие было другое, но я увидал подпись Чехова и прочел эту прекрасную вещицу, напомнившую мне один из проведенных с Антошей Чехонте вечеров... А через год была напечатана «Степь», и я уверовал в талант моего друга...

Шли годы, Чехова «признали». Его приглашали к себе, добивались знакомства с ним. Около него увивались те, кто так недавно еще относился к нему не то снисходительно, не то презрительно: так, сотрудничек мелкой прессы...

А затем у него началась связь с Художественным театром. Жить стали Чеховы богаче, кончились наши ужины

с «Чеховским салатом» — картошка, лук и маслины — и чаем с горячими баранками, когда мы слушали виолончель Семашки, молодых певиц и молодого еще певца Тютюника, который, маленький, стоя, бывало, у рояля, своим огромным басом выводил: «...Вот филин замахал крылом» — и в такт плавно махал правой рукой.

Шумно и людно стало теперь у Чеховых...

Иногда все-таки урывались часы для дружеской беседы, и, когда мы оставались вдвоем, без посторонних, — Чехов опять становился моим старым милым Антошей, на которого смотреть было радостно, а среди окружавшего его теперь общества мне всегда бывало как-то жаль его — чувствовалось мне, что и ему не по себе... Недаром он называл сотрудников «Русских ведомостей» — мороженные сиги...

— Ты курьерский поезд. Остановка — пять минут. Буфет.

Так Чехов сказал мне однажды, еще в те времена, когда он жил в «Комоде», в этом маленьком двухэтажном коттэджике на Кудринской-Садовой, куда я забегал на часок, возвращаясь из газетных командировок или носясь по Москве в вихре репортерской работы.

Приходят на память эти слова Чехова, когда начинаю писать воспоминания, так непохожие на обычные мемуары. Ведь мемуары — это что-то последовательное, обстоятельное — изо дня в день, из года в год... Их хорошо писать отставным генералам, старым чиновникам, ученым на покое, — вообще людям, прожившим до старости на одном месте, на одной службе.

У бродяги мемуаров нет, — есть клочки жизни. Клочок там, клочок тут, — связи не ищи... Бродяжническую жизнь моей юности я сменил на обязанности летучего корреспондента и вездесущего столичного репортера. Днем завтракаешь в «Эрмитаже», ночью, добывая материал, бродишь по

притонам Хитрова рынка. Сегодня, по поручению редакции, на генерал-губернаторском рауте пьешь шампанское, а завтра—едешь осматривать задонские зимовники, занесенные снегом табуны,—и вот—дымится джулун.

Над костром, в котелке кипит баранье сало... Ковш кипящего сала—единственное средство, чтобы не замерзнуть в снежном буране или, по-донскому, шургане... Николай Рубинштейн дирижирует в Большом театре на сотом представлении «Демона», присутствует вся Москва в бриллиантах и фраках, — я описываю обстановку этого торжественного спектакля; а через неделю уже Кавказ, знакомые места. Чортова лестница, заоблачный аул Безенги, а еще выше, под снежной шапкой Каштантау, на стремнинах ледяного поля бродят сторожкие туры. А через месяц Питер,—встречи в редакциях и на Невском... То столкнешься с Далматовым, то забредешь на Николаевскую 65 к Николаю Семеновичу Лескову, то в литературном погребке на Караванной смотришь, как поэт Иванов-Классик мрачно чокается с златокудрым, жизнерадостным Аполлоном Коринфским, и слушаешь, как восторженный и бледный Костя Фофанов, закрыв глаза, декламирует свои чудесные стихи, то у Глеба Успенского на пятом этаже в его квартирке на Васильевском Острове, в кругу старых народников рассказываешь эпизоды из своей бродяжной жизни бурлацкой... А там опять курьерский поезд, опять мечешься по Москве, чтобы наверстать прошедшую прогульную неделю...

И так проходила в этих непрерывных метаниях вся жизнь — без остановки на одном месте. Все свои, все друзья, хотя я не принадлежал ни к одной компании, ни к одной партии... У репортера тех дней не было прочных привязанностей, не могло быть... Прочных знакомств летучему корреспонденту тоже не было времени заводить—единственное знакомство у меня в то время, знакомство домами,

было с семьей Чехова, да и то до тех пор, пока Чехов не вошел в славу.

Разные были мы с ним люди.

Я долго не мог вспомнить, как и когда началось наше знакомство и где произошла у меня первая встреча с Чеховым. Об этом он мне как-то раз напомнил сам; оказалось, что в эту первую встречу я Чехова и не заметил. Помнил только вторую, в редакции «Будильника», где редактор Н. П. Кичеев представил мне симпатичнейшего юношу с заброшенными назад волосами.

— Антоша Чехонте — Дядя Гиляй. Знакомьтесь.

— Мы уже знакомы... Нас познакомил Селецкий, помните?.. Вы мне еще чуть руку не сломали.

Я сделал вид, что помню.

С этого дня мы стали встречаться особенно часто в «Будильнике» и «Зрителе» у Всеволода Давыдова. Совсем друзьями сделались. Как-то за столом у меня дома, в случайном разговоре о Русском гимнастическом обществе, он сказал, улыбаясь:

— Я тоже член-учредитель Гимнастического общества. Селецкий меня и брата Николая записал в учредители... Так, для счета... Вот там-то мы с тобой, Гиляй, и познакомились. Помнишь?

Так как стесняться было нечего, я сказал откровенно:

— Нет, не помню.

И рассказал Антон Павлович, как его случайно завел Селецкий, тогдашний председатель общества, в гимнастический зал в доме Редлиха на Страстном бульваре:

— Посреди огромного зала две здоровенные фигуры в железных масках, нагрудниках и огромных перчатках изо всех сил лупят друг друга по голове и по бокам железными полосами, так что искры летят—смотреть страшно. Любуюсь на них и думаю, что живу триста лет назад. Кругом на скамьях несколько человек зрителей. Сели и мы. Селецкий сказал, что один из бойцов—Тарасов, первый боец на эспадронах во всей России, преподаватель общества, а

другой, в высоких сапогах, его постоянный партнер — поэт Гиляровский. Селецкий меня представил вам обоим, а ты и не поглядел на меня, но зато так руку мне сжал, что я чуть не заплакал.

Чехов с тех пор так и не бывал больше в Гимнастическом обществе, но разговаривали мы о нем впоследствии там не раз, а в 90-х годах он даже внес членский взнос и снова стал числиться членом, желая сделать мне, председателю общества, приятное. Привез я ему как-то в Мелихово список членов общества, где и его фамилия была напечатана.

— Ну, какой же я гимнаст! — сказал он, улыбаясь. — Я—человек слабый, современный, а вы с Тарасовым точно из глубины веков выплыли. Тамплиеры! Витязи! Как тогда хлестались вы мечами! Никогда не забуду. А ты и меня в гладиаторы!.. Нет уж, куда мне!.. Да и публика у вас не по мне,—пробежал он глазами по списку членов общества.

— Нет, публика у нас простая—конторщики, приказчики, студенты. Это—люди активные, ну, а ты вот, Морозовы, Крестовниковы, Смирновы-виноторговцы и еще некоторые—только платят членские взносы.

— Значит, мы мертвые души? Люди настоящего века. А придет время,—может быть, лет через сто, будут все сильными, будет много таких, как ты и Тарасов... Придет время!..

И несколько лет Антон Павлович числился членом общества, но никогда там не бывал, хотя ценил и любил силу и ловкость в других. Когда я приезжал в Мелихово, то обязательно и он и его отец, Павел Егорович, вели меня к лошадям, пасшимся в леваде, сзади двора, и бывали очень довольны, когда я им показывал какие-нибудь штуки по вольтижировке или джигитовке.

— Знаешь, Гиляй, пробовал я тебя описывать, да ничего не выходит,—говорил мне не раз Антоша.—Не укладываешься ты, все рамки ломаешь. Тебе бы родиться три-

ста лет назад или, может быть, лет сто вперед. Не нашего ты века.

Разные мы с ним были люди, а любили друг друга. Я его, слабого и хрупкого, любил какой-то особой, нежной любовью. И как радостны бывали наши встречи! В юные годы мы очень часто виделись. Раз, в 1882 году, целую неделю вместе работали в Окружном суде на деле Скопинского банка — известном процессе, который вел прокурор С. С. Гончаров. Антон Павлович писал заметки об этом процессе в «Петербургской газете» под псевдонимом «Рувер».

Много в Скопине воров,
Погубил их Гончаров!

Острил Чехов.

В 1884 году я женился, наши семьи познакомились. Помню, как-то в субботу, получив в «Русских ведомостях» гонорар за неделю, что-то около ста рублей, я пришел в «Будильник» и там встретил Чехова. На его долю гонорара в «Будильнике» пришлось что-то мало, а я похвастался деньгами.

— Ну так вот завтра пеки пирог у себя и скажи Марии Ивановне, что мы все придем. И Левитана приведем...

Под влиянием разговоров о Крыме Левитан, найдя на моем столе альбом, сделал в нем во время общей беседы два прекрасных рисунка карандашом: «Море при лунном свете» и «Ветлы». Тотчас после него Николай Павлович Чехов нарисовал в альбоме красным, черным и синим карандашом великолепную женскую головку. Антон Павлович, долго смотревший на художников, сказал:

— Разве так рисуют? Ну, головка! Чья головка? Ну, море! Какое море? Нет, надо рисовать так, чтобы всякому было понятно, что хотел изобразить художник.

Он взял альбом. Рисунок, готовый через несколько минут, был встречен общим хохотом. Антон Павлович, отдавая мне альбом, сказал:

— Береги, Гиляй, это единственное мое художественное

произведение: никогда не рисовал и больше никогда рисовать не буду, чтобы не отбивать хлеб у Левитана.

На рисунке изображена была гора, по которой спускается турист в шляпе и с палкой, башня, дом с надписью «Трактир», море, по которому плывет пароход, и в небе—летящие птицы; внизу—надпись: «Вид имения «Гурзуф» Петра Ионыча Губенина», а кроме того везде были пояснения: «море», «гора», «турист», «чижи»...

Первые годы в Москве Чеховы жили бедно. Отец служил приказчиком у галантерейщика Гаврилова, Михаил Павлович и Мария Павловна учились еще в гимназии. Мы с женой часто бывали тогда у Чеховых,—они жили в маленькой квартире в Головином переулке, на Сретенке. Веселые это были вечера! Все, начиная с ужина, на который подавался почти всегда знаменитый таганрогский картофельный салат с зеленым луком и маслинами, выглядело очень скромно, ни карт, ни танцев никогда не бывало, но все было проникнуто какой-то особой теплотой, сердечностью и радушием. Чуть что похвалишь—на дорогу обязательно завернут в пакет, и отказываться нельзя. Как-то раз в пасхальные дни подали у Чеховых огромную пасху и жена моя удивилась красоте формы и рисунка. И вот, когда мы собрались уходить, вручили нам большой, тяжелый сверток, который велели развернуть только дома. Оказалось, в свертке—великолепная старинная дубовая пасочница.

Мы с Антоном работали в те времена почти во всех иллюстрированных изданиях: «Свет и тени», «Мирском толке», «Развлечении», «Будильнике», «Москве», «Зрителе», «Стрекозе», «Осколках», «Сверчке». По вечерам часто собиралась у Чеховых небольшая кучка жизнерадостных людей: его семейные, юноша-виолончелист Семашко, художники, мой товарищ по сцене Вася Григорьев, когда великим постом приезжал в Москву на обычный актерский съезд. Мы все любили его пение и интересные рассказы, и

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО.

Здѣсь

Столешников пер., д. Корзинк...

Владиміру Алексѣевичу

Гиляровскому

... пишется только адресъ

27 янв

Я вернулся

А. Ч.

Грачевка в Москве [illegible]

Самое короткое письмо А. П. Чехова.
Январь 1894 г.

Антоша нередко записывал его меткие словечки, а раз даже записал целый рассказ о случае в Тамбове, о собаке, попавшей в цирк. Это и послужило темой для «Каштанки».

В 1885 и 1886 годах я жил с семьей в селе Краскове по Казанской дороге, близ Малаховки. Теперь это густо населенная дачная местность, а тогда несколько крестьянских домов занимали только служащие железной дороги. В те времена Красково пользовалось еще разбойничьей славой, деля ее с соседней деревней Кирилловкой, принадлежавшей когда-то знаменитой Салтычихе. И из Кирилловки и из Краскова много было выслано крестьян за разбои в Сибирь. Под самым Красковым, на реке Пехорке, над глубоким омутом стояла громадная разрушенная мельница, служившая притоном «удалым добрым молодцам». В этом омуте водилась крупная рыба и, между прочим, огромные налимы, ловить которых ухитрялся только Никита Пантюхин, здешний хромой крестьянин, великий мастер этого дела. На ноге у него много лет была какая-то хроническая гниющая рана, которую он лечил или прикладывая ил из омута и пруда или засыпая нюхательным табаком. Никита сам делал рыболовные снаряды и, за неимением средств на покупку свинца, употреблял для грузил гайки, которые самым спокойным образом отвинчивал на железнодорожном полотне у рельс на местах стыка. Что это могло повлечь за собой крушение поезда, ему и на ум не приходило.

Чехов очень интересовался моими рассказами о Краскове и дважды приезжал туда ко мне. Мы подолгу гуляли, осматривали окрестности, заглохшие пруды в старом парке. Об одном пруде, между прочим, ходило предание, что он образовался на месте церкви, провалившейся во время венчания вместе с духовенством и брачущимися. Антон Павлович записал это предание. И вот на берегу этого самого пруда, в зарослях парка мы встретили Никиту. Он ловил карасей и мазал илом свою ужасную ногу. Антон

Павлович осмотрел рану и прописал какую-то мазь; я ее привез, но Никита отказался употреблять лекарство и заявил:

— Зря денег не плати, а что мазь эта стоит — лучше мне отдавай деньгами, либо табаку нюхательного купи: табак червяка в ноге ест.

Рассказал я Чехову, как Никита гайки отвинчивает, и Антон Павлович долго разговаривал с ним, записывал некоторые выражения. Между прочим, Никита рассказывал, как его за эти гайки водили к уряднику, но все обошлось благополучно.

Антон Павлович старался объяснить Никите, что отвинчивать гайки нельзя, что от этого может произойти крушение, но Никите это было совершенно непонятно. Он только пожимал в ответ плечами и спокойно возражал:

— Нешто я все гайки-то отвинчиваю? В одном месте одну, в другом — другую... Нешто мы не понимаем, что льзя, что нельзя?

Никита произвел на Чехова сильное впечатление. Из этой встречи впоследствии и родился рассказ «Злоумышленник». В него вошли и подлинные выражения Никиты, занесенные Чеховым в свою знаменитую записную книжку.

Мы жили в доме де-Ладвез на Второй Мещанской, в маленькой квартирке в нижнем этаже. В это время был большой спрос на описания жизни трущоб, и я печатал очерк за очерком, для чего приходилось слоняться по Аржановке и Хитровке. Там я заразился: у меня началась рожа на голове и лице, температура поднялась выше 40°. Мой полуторагодовалый сын лежал в скарлатине, должно быть, и ее я тоже принес из трущоб. На счастье мой друг, доктор А. И. Владимиров, только что окончивший университет, безвыходно поселился у меня и помогал жене и няне ухаживать за ребенком. У меня рожа скоро прошла, но тут свалилась в сыпном тифу няня Екатерина Яковлевна,—

вошь я занес, конечно, тоже с Хитрова рынка... И вот в это самое время случайно забежал ко мне Антон Павлович. Он пришел в ужас и стал укорять нас, что не послали за ним. Осмотрел няню, сына, проглядел рецепты и остался доволен лечением. Тут вернулся Владимиров, и мы все вместе уговорили Антона Павловича не приходить больше в наш очаг заразы. Суровый Владимиров для убедительности перевел все на профессиональную почву: дескать, лечу я и прошу не мешать. Как будто—уговорили. Не прошло, однако, и двух дней, как Антон Павлович явился опять и затем стал заходить и справляться чуть ли не ежедневно. Тогда мы решили не отпирать ему дверей, несмотря на все просьбы, разговаривали с ним сквозь щель, не снимая с двери цепочки.

Антон Павлович подарил мне первый литографированный экземпляр своей пьесы «Иванов», которая была поставлена в бенефис Н. В. Светлова в театре Корша. Вот что об «Иванове» рассказывал мне брат Антоши, Иван Павлович:

— Я носил пьесу в театр Корша. Понравилась. Потом как-то зашел я на репетицию и застал в буфете бенефицианта Светлова и Градова-Соколова. Светлов ругательски ругал пьесу: «Какая это пьеса для бенефиса? Одно название чего стоит — «Иванов». Кому интересен какой-то Иванов? Никто и не придет».—«Нет, брат, ошибаешься,—возразил Градов-Соколов.—Во-первых, автор—талантливый писатель, а во-вторых, — название самое бенефисное: «Иванòв» или «Ивàнов». Каждому «Иванòву» и «Ивàнову» будет интересно узнать, что такое про него Чехов написал. И если только одни «Ивановы» придут — у тебя уж полный сбор обеспечен»...

И, действительно, Градов-Соколов предсказал верно.

Когда начался разъезд после спектакля,—только и слышалось у подъезда:

— Карету Ива̀нова!
— Одиночку Ивано̀ва!
— Лихач от Большой Московской с Ива̀новым!
— Кучер полковника Ивано̀ва!..

В 1886 году от Антона Павловича я получил его книжку «Пестрые рассказы», изданные «Осколками». Самую первую свою книжечку, «Сказки Мельпомены», он дал мне еще в 1884 году. Вслед за «Пестрыми рассказами» он напечатал в том же году в типографии братьев Вернер, на Арбате, вторую книгу — «Невинные речи». У Вернеров мы оба работали в издаваемом ими журнале «Сверчок».

Чехов посоветовал и мне собрать и издать свои очерки и рассказы, которых за последние два года, благодаря моему увлечению беллетристикой, накопилось порядочно.

— Кто же мне издаст?
— А Собачий Воротник.

Так Чехов называл младшего Вернера, щеголя, носившего пальто с воротником из какого-то серого меха.

Но «Собачий Воротник» отказался издать мою книгу, а предложил напечатать ее в кредит. И я напечатал «Трущобные люди».

Ее сожгли. Уцелел лишь один экземпляр, переплетенный из листов, тайком данных мне фактором. Единственный экземпляр моей книги я подарил жене. Близкие знакомые, желавшие прочитать эту запретную книгу, приходили к нам. Пришел и Чехов.

— Ну, конечно, нецензурно. Хоть ты мне бы показал, что печатать хочешь... Можно было бы что-нибудь сделать. А то уж одно название — «Трущобные люди» — напугало цензуру. Это допустимо было в шестидесятых годах, когда цензора либеральничали в угоду времени. Ну и дальше заглавия: «Человек и собака», «Обреченные», «Каторга», «Последний удар»... Да разве это теперь возможно?

— Вы подумайте, Антон Павлович,— у жены это любимое слово было,—вы подумайте, как же не напечатать кни-

гу, когда все помещенные в ней очерки были раньше напечатаны?

— В отдельности могли проскочить и заглавия и очерки, а когда все вместе собрано, действительно, получается впечатление беспросветное... Все гибнет, и как гибнет! Мрачно все...

И тут же Чехов утешил нас:

— Ну да скоро доживем мы до того времени, когда эту книгу Гиляя напечатают, и увидим ее успех большой... А это будет... будет... Идет к тому...

Сожгли мою книгу, и как будто руки отшибло писать беллетристику. Я весь отдался репортерству, изредка впрочем писал стихи и рассказы, но далеко уже не с тем жаром, как прежде.

Я увлекся конским спортом — вспомнил юность, степи, табуны. Я отдыхал на скачках, главным образом, не на самых скачках, а на утренних работах скаковых лошадей.

Потом начал писать в казенном журнале «Коннозаводство» и московском «Русском спорте», а впоследствии редактировал «Журнал спорта». Я интересовался только верховыми лошадьми, рысака я не любил,— и метался по степям, по табунам, увлекаясь давно знакомым мне делом.

С Чеховым я встречался все реже и реже... Уж давно кончились наши субботы у меня и воскресенья у Чеховых. Антон Павлович стал итти в гору. «Русские ведомости», которые я почти оставил, стали за ним ухаживать, «Русская мысль» тоже... А потом — Художественный театр. Но хотя наши встречи и стали реже, они всегда были самые теплые, дружеские и попрежнему веселые. Вспоминается, например, такой случай.

Как-то часу в седьмом вечера, великим постом, мы ехали с Антоном Павловичем с Миусской площади ко мне чай пить. Извозчик попался отчаянный: кто старше, он ли, или его кляча — определить было трудно, но обоим вместе сто

лет насчитывалось навернее; сани убогие, без полсти. На Тверской снег наполовину стаял, и полозья саней то-и-дело скрежетали по камням мостовой, а иногда, если каменный оазис оказывался довольно большим, кляча останавливалась и долго собиралась с силами, потом опять тащила еле-еле, до новой передышки. Наших убеждений извозчик, повидимому, не слышал и в ответ только улыбался беззубым ртом и шамкал что-то невнятное. На углу Тверской и Страстной площади каменный оазис оказался очень длинным, и мы остановились как раз против освещенной овощной лавки Авдеева, славившегося на всю Москву огурцами в тыквах и солеными арбузами. Пока лошадь отдыхала, мы купили арбуз, завязанный в толстую серую бумагу, которая сейчас же стала промокать, как только Чехов взял арбуз в руки. Мы поползли по Страстной площади, визжа полозьями по рельсам конки и скрежеща по камням. Чехов ругался — мокрые руки замерзли. Я взял у него арбуз.

Действительно держать его в руках было невозможно, а положить некуда.

Наконец, я не выдержал и сказал, что брошу арбуз.

— Зачем бросать? Вот городовой стоит, отдай ему, он съест.

— Пусть ест. Городовой! — поманил я его к себе.

Он, увидав мою форменную фуражку, вытянулся во фронт.

— На, держи, только остор...

Я не успел договорить: «осторожнее, он течет», как Чехов перебил меня на полуслове и трагически зашептал городовому, продолжая мою речь:

— Осторожнее, это бомба... неси ее в участок...

Я сообразил и приказываю:

— Мы там тебя подождем. Да не урони, гляди.

— Понимаю, вашевскродие.

А у самого зубы стучат.

Оставив на углу Тверской и площади городового с бомбой, мы поехали ко мне в Столешников чай пить.

На другой день я узнал подробности всего, вслед за тем происшедшего. Городовой с бомбой в руках боязливо добрался до ближайшего дома, вызвал дворника и, рассказав о случае, оставил его вместо себя на посту, а сам осторожно, чуть ступая, двинулся по Тверской к участку, сопровождаемый кучкой любопытных, узнавших от дворника о бомбе.

Вскоре около участка стояла на почтительном расстоянии толпа, боясь подходить близко и создавая целые легенды на тему о бомбах, весьма животрепещущую в то время благодаря частым покушениям и арестам. Городовой вошел в дежурку, доложил околодочному, что два агента охранного отделения, из которых один был в форме, приказали ему отнести бомбу и положить ее на стол. Околодочный притворил дверь и бросился в канцелярию, где так перепугал чиновников, что они разбежались, а пристав сообщил о случае в охранное отделение. Явились агенты, но в дежурку не вошли, ждали офицера, заведывавшего взрывчатыми снарядами, без него в дежурку войти не осмеливались.

В это время во двор въехали пожарные, возвращавшиеся с пожара, увидали толпу, узнали, в чем дело, и старик брандмейстер, донской казак Беспалов, соскочив с линейки, прямо, как был, весь мокрый, в медной каске, бросился в участок и, несмотря на предупреждения об опасности, направился в дежурку.

Через минуту он обрывал остатки мокрой бумаги с соленого арбуза, а затем, не обращая внимания на протесты пристава и заявления его о неприкосновенности вещественных доказательств, понес арбуз к себе на квартиру.

— Наш, донской, полосатый. Давно такого не едал.

Немало квартир переменили Чеховы, во всех приходилось мне у них бывать. Припоминаю один курьез из тех времен, когда они жили на Большой Якиманке. Пришел я к

Чеховым как-то под вечер и нашел Антона ходящим из угла в угол по кабинету: лицо — бледное, осунувшееся.

— Что с тобой?

— Живот болит. Завязал шарфом, не помогает, надо радикально лечиться,— и позвал служившего у него мальчика: — Бабакин, сходи в аптеку и купи касторки в капсюлях.

Аптека была рядом, и мальчик живо принес касторку. Чехов развернул коробку и со смехом показал мне две огромных капсюли.

— Каковы? За кого они меня приняли? — Он взял перо и крупными буквами написал на коробке: «Я не лошадь».

Бабакин снова отправился в аптеку и на этот раз принес шесть капсюлей в коробочке. Аптека получила желанный автограф.

В 80-х годах Антон Павлович купил себе небольшое имение Мелихово в Серпуховском уезде, в двенадцати верстах от станции Лопасня, Курской железной дороги.

Антон Павлович очень любил свой тихий мелиховский уголок, свой «Вишневый сад».

Особенно хорошо там бывало ранней весной. Иногда я ездил туда на пасху, когда съезжались в Мелихово гости и вся патриархальная семья Чеховых была в сборе.

Налево от передней помещался кабинет Антона Павловича, с полками книг и письменным столом, на котором всегда лежала папка с начатым рассказом или повестью. Он, обыкновенно, при гостях работал урывками, но все-таки писал каждый день: напишет немного, потом оторвется от работы, выйдет к гостям поговорить, затем опять садится писать. Иногда во время обеда он внезапно вставал из-за стола, уходил в кабинет, набрасывал несколько строк и, вернувшись в столовую, продолжал застольную беседу. Удивительно легко у него гостилось. Всякий делал, что хотел, никто никому не мешал. И в то время, когда он писал, к нему



В Мелихове ранней весной.

В тачке сидят: Ан. П. Чехов и Мих. П. Чехов. Везет В. А. Гиляровский. Справа Ив. П. Чехов. Слева двоюродный брат А. П. Чехова — А. Долженко.

можно было входить в кабинет, не боясь помешать. Так, по крайней мере, на моей памяти это всегда бывало в Мелихове.

Столовая была рядом с кабинетом. У Антона Павловича имелось свое излюбленное место у конца стола, вблизи от двери в кабинет.

В те времена он не отказывался от рюмки водки и стакана вина и всегда сажал меня рядом с собой и любил сам наливать мне. По правую руку от меня всегда занимал место его отец, Павел Егорович, тоже разделявший нашу компанию. А дальше мать, Евгения Яковлевна, сестра, Мария Павловна, и братья.

Уроженцы Таганрога, они любили южные кушанья, и Евгения Яковлевна мастерски их готовила и любила угощать—по-донскому. И настоечка, и наливочка, и пироги—всего бывало всегда вволю. А уезжающим в Москву обязательно завертывали чего-нибудь вкусного на дорогу.

С восторгом я вспоминаю о Мелихове. Это, кажется, лучшее время из жизни Чехова. Здоровье его тогда находилось еще в сравнительно хорошем состоянии, был он жизнерадостен, любил природу. Да и задумываться было некогда: литературная работа, хозяйство, сад, в котором Антон Павлович всегда копался, занимаясь посадками, а потом вечная толпа баб и мужиков, приходивших к своему «дохтуру» с разными болезнями. И всегда—гости и гости.

Когда последних съезжалось слишком много, а особенно «дамского сословия», мы, своя компания, с Антоном Павловичем во главе, переселялись в баню. Впрочем ее только называли баня. В действительности там при бане было несколько комнат, прекрасно обставленных, с кроватями и диванами. Славно время проводили мы там—и наливочка, и чаек, и разговоры да чтение с вечера до утра.

Кто-то из братьев Чеховых имел фотографический аппарат, снимал виды и группы. И вот однажды ранней весной, только что снег сошел, мы гуляли в саду, Антон Павлович обратился ко мне:

— Гиляй, я устал, покатай меня на тачке! — и сел в тачку. Туда же поместился его брат Миша, бывший тогда еще гимназистом, а когда я привез их к дому, то пожелали снять фотографию. Кроме нас трех, на группе — Иван Павлович Чехов и двоюродный брат Антона Павловича — Алеша Чехов.

Я частенько наезжал в Мелихово. Иногда Антоша вызывал меня письмами. Вот одно из них, случайно уцелевшая открытка:

Москва. Столешников, дом Корзинкина, Вл. Ал. Гиляровскому. Хочешь, чтобы тебя забыли друзья? Купи имение и поселись в нем. Потяни, Гиляй, за хвостик свою память и вспомни о поздравляющем тебя литераторе Чехове. Христос воскресе! Твой А. Чехов. Мелихово.

П. С. Лошади теперь хорошие. Приезжай.

Помню, раз, должно быть в 900 году, напечатал я фельетон о выступлении декадентов в Художественном кружке и их жестоко вышутил. Заглавие фельетона было «Люди четвертого измерения». В ответ я получил от Чехова такую открытку:

Милый дядя Гиляй, твои «Люди четвертого измерения» великолепны, я читал и все время смеялся. Молодец, дядя! После 20 апреля буду в Москве. Крепко жму твою ручищу. Твой А. Чехов. 23 марта 1930 г.

Помню, что я ответил ему тогда открыткой с такими стихами:

Каламбуром не избитым
Удружу — не будь уж в гневе:
Ты в Крыму страдал плевритом,
Мы на севере — от Плеве.

Когда приехал Чехов в Москву, я спросил его, получил ли он открытку. Оказалось — нет. Я ему повторил стихи.

— Ну, вот ты напиши-ка мне их, а открытка твоя, наверное, пригвождена к делу приставом Гвоздевичем...

Как-то мы завтракали вдвоем с Антоном Павловичем в «Славянском базаре». Он на зиму приехал в Москву из Ялты.

— Ты помнишь Епифанова? — спросил Чехов меня.— Сценки писал...

— Ну да, Сережу... Алкоголик, бедняга...

— Наткнулся я на него в Ялте в больнице за несколько дней до смерти. Носил ему гостинцев... Всему он радовался... Вспоминали старых товарищей, Москву, трактиры... Когда заговорил я о тебе, он только два слова сказал: «Было попито!»

Я тут же рассказал один случай с Епифановым, который очень понравился Чехову, и он взял с меня слово, что я его обязательно напечатаю, это был уж блеск его славы, и мелочей он не писал. Я дал ему слово—и забыл.

Мы сидели как-то в редакции «Московского листка», где Н. И. Пастухов, по обыкновению, в расстегнутом халате и в туфлях, рассматривал за письменным столом принесенный репортерами материал. Сережа Епифанов, небесталанный поэт и автор сценок, принес уличную картинку о том, как толпа в самый Новый год собралась на Цветном бульваре около лежавшего на снегу замерзшего попугая, прекрасного белого какаду. Епифанов рассказывал, что в Москве появились попугаи, живут они на бульварах, все это в смешной форме. Пастухов прочел сценку и сказал: «Не пойдеть! — ты вот найди, откуда это попугай взялся и как он на бульвар попал, тогда пойдеть!»—«Это невозможно, Николай Иванович».—«Какой же ты после этого репортер выходишь? Может, сам нашел на помойке дохлую птицу и подкинул ее, чтобы сценку написать? Вон Гиляй с Вашковым купили на две копейки грешников у разносчика, бросили их в Патриарший пруд, народ собрали и написали сценку «Грешники в Патриаршем пруде». Там хоть смешно было... А это что? Сдох попугай, а ты сценку в сто строк.

Вот найди теперь, откуда птица на бульвар попала. Эх ты, строчило мученик!»

Пастухов встал и ушел.

На углу Петровки и Рахмановского переулка, в доме Левенсона, над трактиром Зверева помещались тогда меблирашки «Надежда», которые были населены главным образом проститутками из средних, мелкими служащими и актерами. В те времена, когда Пастухов послал Епифанова разыскивать попугая, в самом лучшем из номеров «Надежды» жил некто Кондратьев, красивый высокий блондин с огромными выхоленными усами. Он рекомендовался всем как отставной офицер, но, судя по его языку, уж слишком упрощенному, этому верить было трудно. Известно только было, что он жил картежной игрой и биллиардом и был завсегдатаем биллиардной трактира Саврасенкова близ памятника Пушкину. Эта биллиардная, занимавшая два зала, с лучшими фреберговскими биллиардами, служила в Москве самым крупным притоном для шулеров. Игра происходила на деньги, при чем публика, теснившаяся по длинным диванам вдоль стен, держала иногда крупные суммы за игроков-шулеров, и спуск шел во-всю. Играли здесь знаменитости того времени: Пискун, Соломон, Шулькевич, Голиаф, Малинин и, не последний среди них, Кондратьев. Играл еще маляр Кирюша, умевший показывать такую игру, что у шулеров выигрывал партии.

Из редакции «Листка» после отповеди Пастухова мы с Епифановым вышли очень огорченные, и я повел его к Саврасенкову утешать графинчиком водки с приличной закуской. Мы сели на большом диване, как раз против биллиарда, где велась игра. К нам подсел великан, игрок Голиаф, которого я давно знал, и, указывая на игравших, сказал:

— Вот Малинин, что он вчера с Кондратьевым сделал— смехота!

— А что?

— Уж и не говорите, у Кондратьева на празднике день-

жонки завелись, ну Васька к нему и подмазался и прямо отсюда, это третьего дня было, к нему в гости навязался. Выпили в номере чайку, водочки вдвоем, а потом ему Малинин банчишко заложил один-на-один. Игра шла начистоту. Играли долго. Под утро Малинин все деньги у него выиграл, часы, портсигар, а тот зарвался, из себя вон лезет. А Васька ему: «Хочешь на попугая?» А в комнате у него белый попугай любимый жил. «Да на что он мне? Ну, изволь, согласен». Долго ли, коротко играли, Кондратьев и попугая проиграл. «Получай, твой попугай! Хочешь на собаку? У меня пойнтер ланских кровей есть, цены нет».— «Где же он?»—«Да внизу в швейцарской, в номере держать нельзя, хочешь за триста рублей?»—«Ладно, давай и кобеля!» Кондратьев вышел из номера за собакой, а Малинин взял попугая из клетки да и выкинул его через форточку на улицу, а сам надел шубу и наутек. — «Куда же ты?» — «Не могу, домой пора».—И ушел. Сейчас вот Малинин все это нам и рассказывал. Кондратьев за ним бегает, плачет— «отдай попугая, я без него жить не могу», а он уж сдох давно, на Цветном бульваре ребята его таскали замерзлого.

Это была удача! Епифанов подробно описал всю рассказанную нам историю, принес Пастухову и получил за это 25 рублей и теплое пальто в подарок.

В пятом томе писем А. Чехова есть письмо от 25 ноября 1899 года Горькому из Ялты:

> Здесь в приюте для хроников в одиночестве, в забросе умер поэт «Развлечения» Епифанов, который за два дня до смерти попросил яблочной пастилы, и когда я принес ему, так он оживился. Зашипел своим больным голосом радостно: «Вот она, самая она». Точно землячку увидел.

Я прочел это письмо в собрании писем, изданных Марией Павловной, вспомнил данное слово и написал то, что рассказывал когда-то Антону Павловичу об Епифанове.

Над дорогой с веселым криком носились старички, в траве перекликались суслики, где-то далеко-далеко плакали чибисы. Стадо

куропаток, испуганных бричкой, вспорхнуло и со своим мягким «трррр» полетело к холмам. Кузнечики, сверчки, скрипачи и медведки затянули в траве свою скрипучую, монотонную музыку...

С такой любовью описывает Антон Павлович утро в степи.

А дальше день, знойный, июльский день:

Как душно и уныло! Бричка бежит, а Егорушка видит одно и то же — небо, равнину, холм... Музыка в траве приутихла. Старички улетели. Куропаток не видно. Над поблекшей травой от нечего делать носятся грачи, все они похожи друг на друга и делают степь еще более однообразной... Для разнообразия мелькнет в бурьяне белый череп или булыжник; вырастет на мгновение серая каменная баба или высохшая ветла.

Славно удалось его первое большое произведение «Степь»!

Не та буйная, казацкая, гоголевская степь с ее налетами запорожцев, а тихая, спокойная степь времени его детства и юности.

Антон Павлович — степняк прирожденный, от прадедов. Когда вышла его «Степь», я много беседовал с ним о степях, которые сам страстно люблю. В этих беседах принимал участие и его отец.

Из рассказов Павла Егоровича и его детей я узнал и родословную Чеховых.

Дед Антона Павловича, Егор Михайлович Чех, принадлежал к крепостным знаменитого донца графа Платова. Почему прозвание его было Чех, так и осталось неизвестным. Он жил и работал в степных слободах Крепкой и Княжой, заработал достаточно денег, чтобы выкупиться на волю, что и сделал. Дети у него были уже свободны,— три сына: Михаил, Павел и Митрофан.

Михаил, старший, был отцом отдан в ученье в переплетчики в Калугу, где скоро получил известность, как лучший мастер. Он назывался не Чехов, а Чохов. Своему отцу

он прислал подарок — весьма сложно сделанную шкатулку со следующею надписью: «Примите, дражайший родитель, плод усердного труда моего». Шкатулкой этой очень дорожил Антон Павлович.

Митрофан Егорович открыл бакалейную торговлю в Таганроге. После него остались два сына: Владимир, учительствовавший в Таганроге, и Егор, служивший в Русском обществе пароходства и торговли. Это был любимец Антона Павловича, который звал его «Жоржик». Я бывал в Ялте у Антона Павловича, встречал у него Егора Митрофановича.

Павел Егорович, отец Антона Павловича, начал свою молодость трудной работой прасола. Он гонял скот — и красный калмыцкий и серый украинский — в Москву, в Харьков и другие большие города. Во время путешествий с гуртами, где верхом, где пешком, он попал в Шую и там высмотрел себе невесту. Это и была Евгения Яковлевна. Она урожденная Морозова, дочь купца.

Женившись, Павел Егорович задумал переменить полную приключений кочевую жизнь прасола на оседлую и открыл в Таганроге, по примеру брата, колониальную лавочку.

Дети Михаила Чохова все были коммерсанты.

Дети Павла Егоровича — покойный Николай был весьма талантливый художник, Антон, Александр и Михаил — писатели, Иван — учитель, Мария — художница-пейзажистка. Павел Егорович, став коммерческим человеком, все-таки не утратил той поэтической жилки, которую заставила забиться в груди его степная прасольская жизнь.

Много раз я беседовал с Павлом Егоровичем. Холодный, расчетливый практик исчезал и предо мной вставал совершенно другой человек, полный поэзии, когда разговор переходил на степь, на привольную жизнь, на табуны, на казачество. Молодел и изменялся Павел Егорович.

В том же Мелихове, бывало, когда я возвращался на север из моих частых поездок по южно-русским степям, разговоримся мы, заслушается, оживится старик и предложит:

— Пойдемте-ка, я вам наших лошадок покажу.

— Вот садитесь-ка на эту, проезжайте,—как идет! Только что с Дона привели!—и начнет расписывать достоинства лошадки, заглянет в старину и скажет:—Эх, бывало, и я когда-то ездоком был!

А то еще у него увлечение было — скрипка.

Вспоминал он иногда и некоторые строки Кольцова.

Видно, что поэзия степной жизни, глубоко вкоренившаяся в юности, и любовь к степи, переданная сыну, таилась в душе его и, хотя изредка, все-таки пробивалась сквозь толстую, наносную, многолетнюю кору практической жизни и борьбы с нуждой.

А нуждаться ему приходилось в прежние годы. Торговля в Таганроге шла неважно. Надо было подыскивать еще заработки. И тут-то вот скрипка, знание музыки и хороший голос создали новую профессию Павлу Егоровичу...

На родной сестре Евгении Яковлевны, Федосье Яковлевне, был женат друг и товарищ Павла Егоровича, А. Б. Долженко, начавший свою деятельность такими же степными путешествиями по России—за скупкой холста и разных крестьянских изделий. Бывали оба они в Шуе и женились на родных сестрах. А. Б. Долженко потом завел мануфактурную торговлю в Таганроге, был большой любитель духовного пения и на этом сошелся с Павлов Егоровичем. Сначала они пели в греческом монастыре, потом во дворце в походной церкви и в соборе. Павел Егорович обучал хор под скрипку и был регентом.

Это давало почетное положение в городе, а хор его приезжали слушать даже из Ростова и других городов.

В хоре пели все дети Чехова и сын А. Б. Долженко, Алексей, до настоящего времени один из друзей семьи Чехова, сверстник младших. Александр Павлович, старший, пел сначала дискантом, потом басом; Николай, хороший скрипач, помогал отцу и особенно много пел, что отразилось на его здоровье и, возможно, послужило причиной его болезни; Антон пел альтом.

Гиляю на добрую память 99 17/VIII

А. Чехов

Д. Здобновъ

За всероссійск...

Ниж. Выст. 1896 г.

Ст. Петербургъ

Невскій Просп. № 10. Моховая ул. № 24.


Гос.
Публичная
Библиотека
в
Ленинграде

Семья жила очень дружно. Антон Павлович был смирнее всех. У него была очень большая голова, и его звали «Бомбой», за что он сердился. Любимым занятием Антона было составление коллекций насекомых и игра в торговлю, причем он еще ребенком мастерски считал на счетах. Все думали, что из него выйдет коммерсант.

В том, что Антон Павлович сделался писателем, мы многим обязаны его матери, Евгении Яковлевне, а также и тому, что коммерческие дела отца его в Таганроге шли плохо. Старшие дети учились, Александр был уже в четвертом классе гимназии, когда приспело время отдавать учиться Антона...

В «Степи» Чехова отец Христофор разговаривает с купцом Кузьмичевым. Первый стоит за учение и приводит в пример Ломоносова:

«—Умственность, принимаемая с верой, дает плоды, богу угодные.

А Кузьмичев отвечает:

— Кому наука в пользу, а у кого ум путается. Сестра — женщина непонимающая, норовит все по-благородному и хочет, чтоб из Егорки ученый вышел, а того не понимает, что я и при своих занятиях мог бы Егорку на век осчастливить. Я это к тому вам объясняю, что ежели все пойдут в ученые да в благородные, тогда некому будет торговать и хлеб сеять. Все с голоду поумирают.

— А ежели все будут торговать и хлеб сеять, тогда некому будет учение постигать!»

Вероятно, подобные разговоры происходили когда-то среди окружавших Антона Павловича в детстве.

Когда Антон был в четвертом классе, а Александр в восьмом, отец открыл новую лавку около вокзала, надеясь на наплыв публики.

И время каникул у обоих прошло в лавке. Единственным отдыхом было посидеть вечером на крылечке и послушать отдаленную музыку, доносившуюся из городского сада.

Покупатели были большей частью беднота, а торговцы-гимназисты обладали добрым сердцем, и в результате вместо барыша оказался убыток. Лавка была закрыта.

Антон снова очутился в гимназии, Николай и Александр были отправлены в столицу, первый в Московское училище живописи и ваяния, второй—в университет.

Торговые дела Павла Егоровича шли все хуже. А тут еще домовладелец Моисеев плату за квартиру и лавку с четырехсот рублей в год возвысил до восьмисот. Это была последняя капля, — и Чеховы, закрыв торговлю, переселились в Москву.

Здесь начали учиться младшие дети, Мария и Михаил, а вскоре приехал из Таганрога доучившийся там в гимназии Антон и поступил в университет, а затем стал сотрудничать в юмористических журналах.

Любил я чеховскую компанию, когда они жили в «Комоде». Удивительно был похож на комод этот двухэтажный флигелек—он и сейчас такой же,—на Кудринской-Садовой; он принадлежал тогда земляку Чехова, доктору Карнееву, донскому казаку. Вверху помещались столовая и комнаты для семьи, внизу — большой кабинет Антона Павловича, в который сверху была устроена внутренняя лестница прямо из столовой. Тогда я очень много разъезжал в разных командировках, то на холеру, то на чуму в Астраханские пустыни, то на разные катастрофы, а то в Задонские степи по делам табунного коневодства, в казачьи зимовки и калмыцкие улусы. И только налетом, возвращаясь в Москву, мог видеть я моего друга, и каждая встреча наша была взаимно радостна.

В один из таких приездов влетел я к Антону в кабинет. Он, по обыкновению, за письменным столом сидит.

— Откуда? — улыбнулся он, и глаза его засияли.

— Да отовсюду: с Волги, с Дона, с Кубанских плавней, с Терских гребней.

— Как ты загорел! Совсем чугунный. Ну, садись! Рассказывай!

— Вот тебе гостинец из родных краев,—копченый гусь, сало, две бутылки цымлянского с Дона да шемайка вяленая с Терека.

Весь стол у Антона был обложен аккуратно связанными пачками конвертов с сохранившимися еще на них пятью сургучными печатями — денежных, — со стола он перекладывал их на полку.

— Архив перебираю, — пояснил он мне. — Все редакционные дела. Вот «Осколки», вот «Стрекоза», вот «Петербургская газета»... Память о прожитых богатствах.

И он начал развертывать мой кулек.

— А, с Дону, родное, степь-матушка!

Я тихо, бережно пожал ему руку, он улыбнулся.

— Эх, ты!.. Ну, рассказывай...

Не успел я рта разинуть, как сверху сбежал юноша в студенческом мундире — Н. Е. Эфрос... А из прихожей появились Семашко с виолончелью и певец Тютюник. Поздоровались, начали любоваться гостинцами. Эфрос почти тотчас же простился и убежал. Сверху послышался крик Марии Павловны:

— Антоша, завтрак готов!

— Несите все на стол! — обратился Антон Павлович к нам. — Вы, Семашко, рыбу, гуся и сало, а вы, певец, вино. Мы сейчас придем есть.

Они ушли наверх. Вдруг раздался звонок, вошла горничная.

— Антон Павлович, вас портной спрашивает.

— Глебов? Белоусов?

— Нет, не Федор Глебыч и не Иван Алексеич, а другой какой-то, с бородой и с узлом.

— Гиляй, милый, посмотри и, если чужой кто, скажи, что меня дома нет.

Я вышел в переднюю. У двери смиренно стоял в скромном драповом пальто бородатый мужчина, подмышкой у него был узел в черном коленкоре, в каком портные заказы приносят.

— Владимир Галактионыч! Вот не узнал... Из Нижнего? Ну, раздевайтесь!

— Да, вчера приехал.

— Антоша, Короленко пришел! — закричал я.

Только что мы уселись в кабинете, как раздался голос Евгении Яковлевны сверху:

— Антоша, кабачки остынут!

Пришлось прервать беседу и итти наверх, в столовую.

И почти всегда так бывало: когда ни придешь, постоянно народу у Чеховых труба не толченая. Он уже начал входить в моду. Начался тот период, о котором так много писали, а я здесь описываю только мои личные впечатления, вспоминаю то время, когда мы — Гиляй и Антоша Чехонте — были близки. И хотя до конца жизни он остался для меня Антошей, а я для него Гиляем, прежней близости, когда Чехов «вошел в моду», уже не стало — слишком редки были встречи.

Здоровье Антона Павловича становилось все хуже и хуже. Я изредка навещал его в Ялте. Приехал я как-то раз очень усталый от довольно бурно проведенного времени и норд-оста, потрепавшего нас между Новороссийском и Ялтой. Тогда у меня, чего никогда еще не бывало, появился тик, нервное подергивание лица и шеи.

— Это что тебя дергает? Это что еще за глупости? Как не стыдно, — ты, витязь, премированный за атлетику! — начал упрекать меня Чехов.

Меня опять дернуло.

— Оставь, будь умным! Ты думаешь, что лучше будет, если ты так головой мотнешь? — И он точь-в-точь повторил мое движение с сердитым взглядом. Первый раз в жизни я увидел у него такие глаза.

— Ничего от твоего дерганья на свете лучше не будет, все как было, так и останется... Брось, не смей!

И, погрозив сердито пальцем, он сразу изменил тон и

показал мне в окно на невзрачного человечка, копошившегося около клумбы:

— Это наш Бабакай. Пойдем в сад, и ты мне скажи экспромт о Бабакае.

Я сочинил какие-то четыре строчки, из которых помню теперь только последнюю: «И какой-то Бабакай».

— Ну вот, теперь напиши это на косяке, — мы спускались в это время вниз по лестнице.

Я написал. Антон Павлович прочел.

— Это я с тебя стихами докторский гонорар взял за то, что от глупой привычки вылечил. Понял ты, что дергаться не надо, от этого никому ни лучше, ни хуже не будет, и перестал.

— Верю и не буду.

— Да, вот... Ты думаешь, я плохой доктор? Полицейская Москва меня признает за доктора, а не за писателя, значит я доктор. Во «Всей Москве» напечатано: «Чехов Антон Павлович. Малая Дмитровка. Дом Пешкова. Практикующий врач». Так и написано, не писатель, а врач, — значит, верь!

И я поверил и больше ни разу не дернулся до сего времени.

Мы сидели на лавочке в саду, а Бабакай рылся в клумбе. У меня был кодак, я снял несколько раз Антона, Бабакая, дачу, Антон меня снял. Подошла Мария Павловна, — сняли и ее. Одна только ее карточка и вышла хорошо. Это единственный раз, когда Антон Чехов был фотографом. Подошел Бабакай.

— Антон Павлович, какие-то бабы из города в шляпках приходили, я сказал, что вас нет.

— Хорошо, Бабакай! Это он городских дам называет бабами, отбою от них нет, — пояснил мне Чехов.

— Судьба твоя такая. Без баб тебе, видно, не суждено. Ты подумай, сам говоришь: «От баб отбою нет». Служит у тебя Бабакай... Под Новым Иерусалимом ты

жил в Бабкине, и мальчик у тебя был Бабкин... И сапоги мы с тобой покупали у Бабурина.

— Да, я и не подумал об этом, все баб... баб... баб... кругом! — рассмеялся он.

— Нет, еще не совсем кругом, а только что в начале баб. А чтоб завершить круг, ты вот на этой самой клумбе, которую копает Бабакай, посади баобаб.

В ответ Антоша со смехом вынул из кармана кошелек, порылся в нем и подал мне две запонки для манжет.

— Вот тебе за это гонорар. На память о баобабе... Обязательно посажу баобаб и выпишу его через Бабельмандебский пролив... Бабельмандебский!

Он опять расхохотался.

— Гиляй, знаешь, что, — заключил он, — оставайся у меня жить. С тобой и умирать некогда.

А как любил Чехов степи! Они были постоянно темой наших разговоров, когда мы оставались вдвоем, и оба мы на этих воспоминаниях отдыхали от суеты столичной...

Еще в начале нашего знакомства он с удовольствием выслушивал мои стихи про Стеньку Разина, про запорожцев, которые еще тогда напечатаны не были.

Я уже говорил о том впечатлении, которое произвела на меня «Степь», напечатанная впервые в «Северном вестнике» в конце 80-х годов. При первой же встрече я высказал Чехову свой восторг:

— Прелесть! Ведь это же настоящая, настоящая степь! Прямо дышишь степью, когда читаешь.

— Скучно тебе было читать, скажи по совести!

— Тихо все, читаешь, будто сам в телеге едешь, тихо-тихо едешь.

— Вот оттого-то она и скучна тебе, так и быть должно. Моя степь — не твоя степь. Ведь ты же опоздал родиться на триста лет... В те времена ты бы ватаги буйные по степи водил, и весело б тебе было. Опоздал родиться...

Он засмеялся. А потом задумался и, глядя мне в глаза, медленно проговорил:

— Будет еще и твоя степь. И ватаги буйные будут. Все повторится, что было... Только мы с тобой не доживем до этого. А будет, будет это... И Гонты, и Гордиенки, и Стеньки Разины будут... Все будет... И шире и грознее еще разгуляется. Корка вверху лопнет, и польется; ведь в каждой станице таится свой Стенька Разин, в каждой деревне свой Пугачев найдется... Сорвется с цепи — а за ним все стаей, стаей...

Повторение этого разговора было у нас опять в Ялте, через несколько лет, когда я возвращался из «Нового света» — знаменитого Голицынского виноделия. Антон Павлович был один — он да Евгения Яковлевна. Остальные все разъехались. Он чувствовал себя в этот день очень хорошо, мы опять гуляли по саду и разговаривали в кабинете перед открытым окном, глядя на море.

— Твои герои — в прошлом, сильные, могучие, с порывами; а мои нынешние, все кислота, киснут и скулят; как ты выражаешься — чеховщина.

— Да, чеховщина... Ведь это целая эпоха, ведь у тебя в «Степи» все люди живые, и степь твоя живая, но это — твоя, мирная степь. А я люблю степь другую, табунную, полудикую, целинную. Мне в твоей на телеге ехать скучно. Едешь и думаешь: ни одного-то кабака на дороге! А со скуки выпить хочется.

— Чеховщина! Теперь чеховщина, а поверь, будет время, все твои атаманы встанут... Степь запылает... Когда — не знаю, не скоро, а будет. Идем к тому тихо, как таракан ползет по степи, — ну, а если ползет, так и доползет. Что будет! Что будет!..

Он надолго закашлялся.

— Да ведь так гнить без конца нельзя... Гниет болото, гниет да и высохнет... И запылает от искорки торф в

глубине и лес наверху. Только после нас это будет. Не вовремя ты родился. Или опоздал на триста лет, или раньше явился на сто.— Помнишь, у тебя стихи. Я забыл. Как это?

— Какие?

— Идут полки... бунчуки стали... кто гол... кто в бархате... атаман... усища... Всю картину вижу, а стихов не помню.

— Изволь:

Идет казацкой силы рать...
Все ближе... ближе... Слышны крики,
Видны отдельные полки,
Звенят подковы, блещут пики,
Горят на солнце бунчуки
На том папаха,
Из черна соболя окол,
На этом рваная рубаха,
На этом бархат, этот гол,
И лишь полгруди закрывают
Усы...

— Вот... вот.. Именно такие... Все будет, все будет... через сто лет.

Он вытянул руку к окну, к морю.

— Гляди! Вот твои запорожцы летят на чайках, — прямо на гостиницу «Россия»! Вот ватаги с горы толпами прут, топоры сверкают. Слышишь, гудит?..

— Антоша, завтракать! — вошла Евгения Яковлевна.

Он сразу поник, опустил руку и обернулся ко мне:

— Идем.

Мы вышли из комнаты вслед за Евгенией Яковлевной.

— Так-то, Гиляюшка, все будет, все будет, только мы с тобой не увидим... — еще звучало у меня в ушах.

В последний раз я видел Чехова почти накануне его отъезда за границу. Я вернулся с юга, и дома мне сказали, что Антон Павлович очень плох, хотел меня видеть, и что



Редакционный день „Будильника“ в 1886 году. Среди присутствующих: А. П. Чехов (второй слева). Е. Пассек (говорит по телефону), Н. П. Кичеев (у стола читает гранки). Входит В. А. Гиляровский.

доктора его увозят из России. Переодевшись, я тотчас отправился к нему, на четвертый этаж дома Полякова, № 22 по Леонтьевскому переулку. Только я протянул руку к звонку, как дверь сама навстречу мне отворилась и вышел доктор Ю. Р. Таубе.

— Ну вот и хорошо, Владимир Алексеевич, что вы приехали, Антон Павлович вспоминал вас, обрадуется.

— Каков он?

— Слаб. Послезавтра за границу.

На шум вышла в прихожую Ольга Леонардовна с очень суровым лицом, но при виде меня сразу прояснилась:

— Я испугалась, думала, чужой кто. Идите, Антоша рад будет вам...

Мы тихо подошли к кабинету. Сквозь полуотворенную дверь я увидал Антона Павловича. Он сидел на турецком диване с ногами. Лицо у него было осунувшееся, восковое... и руки тоже... Услышав шаги, он поднял голову... Один момент — и три выражения: суровое, усталое, удивленное — и веселые глаза. Радостная антошина улыбка, которой я давно не видел у него.

— Гиляй, милый, садись на диван! — И он отодвинул ноги вглубь.

— Владимир Алексеевич, вы посидите, а я на полчасика вас покину, — обратилась ко мне Ольга Леонардовна.

— Да я его не отпущу! Гиляй, какой портвейн у меня! Три бутылки!

Я взял в свою руку его похудевшую руку — горячую, сухую.

— А ну-ка пожми! Помнишь, как тогда... А табакерка твоя где?

— Вот она.

Он взял ее, погладил, как это всегда делал, по крышке, и поднес ее близко к носу.

— С донничком? Степью пахнет донник. Ты оттуда?

— Из Задонья, из табунов.

— И неуков[1] объезжал?

— И неуков объезжал, и каймак[2] ел, и цымлу пил, и выморозки[3]...

— Хорошо там у нас... Наши платовские целинные степи!

Он задумался.

— А я вот за границу еду, да... за границу...

— Прекрасно, а как вернешься, в степи тебя повезу, в табуны.

— Ах, степи, степи!.. Вот ты счастливец... Ты там поэзии и силы набираешься. Бронзовый весь, не то, что мы. Только помни: водку пей до пятидесяти лет, а потом не смей, на пиво переходи.

Я долго ему рассказывал о табунах, о калмыцком хуруле[4], о каторжной работе табунщиков зимой в голодовку да в шурганы[5], когда по суткам с коня не слезаешь, чтоб табун головой против ветра держать... а он слушал, слушал, сначала все крутил ус, а потом рука опустилась, глаза устремились куда-то вдаль... задумчивые и радостные... Думаю, степь увидал.

— Допивай портвейн, там в шкафу еще две бутылки... Хороший портвейн... Только твоя сливянка да запеканка домашняя лучше. Кланяйся Марии Ивановне да скажи, что приеду обязательно ее наливки пить... Помнишь, тогда... Левитан, Николай, опенки в уксусе...

И Антон Павлович с блаженной улыбкой закрыл глаза и опустил голову на подушку:

— Я так, минутку... не уходи, пей...

---

[1] Неук — необъезженная лошадь, не ходившая еще ни в упряжи, ни под верхом.

[2] Каймак — особым способом приготовленные сливки с топленого молока.

[3] Цымла — цымлянское вино. Выморозки — крепкое виноградное вино, из которого вода удалена вымораживанием.

[4] Хурул — монгольский храм.

[5] Шурган — метель, буран.

И задремал. За все время нашей беседы он ни разу не кашлянул. Я смотрел на осунувшееся милое лицо, спокойное-спокойное, на неподвижно лежавшие желтые руки с синими жилками и думал:

«Нет, Антоша, не пивать тебе больше у меня сливянки, не видать тебе своих донских степей, целинных, платовских, так прекрасно тобой описанных»...

СОЖЖЕННАЯ КНИГА

На Тверской, напротив генерал-губернаторского дворца стоял четырехэтажный дом Олсуфьева. Ряд надворных флигелей были сплошной трущобой, а в доме на улицу четвертый этаж занимали «меблирашки», известные всей Москве под именем «Чернышей», — комнаты с низкими потолками, с маленькими окнами, с подоконниками на треть метра от полу: чтобы посмотреть в окно, надо было согнуться в три погибели. Этим огромным домом управлял квартальный из бывших городовых, состоявший при генерал-губернаторе князе В. А. Долгорукове для личных услуг. Полиция перед ним трепетала и не смела сунуть носа в Олсуфьевскую крепость — ни в ее трущобы, ни в меблирашки «Черныши», которые десятки лет содержала старуха Чернышева. Управляющий не интересовался, кто и как в них живет, вполне полагаясь на «Чернышиху», крестившую с десяток его детей, при чем каждому своему крестнику она клала на «зубок» по выигрышному сторублевому билету. И хозяйка оправдывала доверие: в меблирашках всегда было тихо, ни шума, ни скандалов, — а половина жильцов была не прописана.

В семидесятых, восьмидесятых годах там останавливались и подолгу проживали отцы и деды нашей революции.

В эти годы самый большой номер, в две комнаты, занимал М. И. Орфанов-Мишла, бывший судебный следователь по должности, ярый народник—шестидесятник и ав-

тор «Сибирских рассказов», запрещенных для библиотек. Роста он был огромного, сложения богатырского, темная борода в полгруди, повидимому, никогда не ведала ножниц, а косматая грива подстригалась раз, два в год.

В номере рядом с ним жил его друг Вася Васильев, провинциальный актер, служивший в то время в Москве, в театре А. А. Бренке, мой старый товарищ по сцене; сам он был крошечный, лицо с кулачок, бритое по-актерски, густые брови и черные курчавые волосы, — родовое наследство по мужской линии.

Отец его был кантонист, по фамилии Шведевенгер, родом откуда-то с Волыни. В аракчеевские времена там забирали еврейских мальчиков от родителей, крестили их и в кантонистских школах воспитывали из них солдат.

Разъезжали фуры по еврейским поселкам, ловили ребятишек и навсегда увозили от родителей. При крещении им давали имя и фамилию большей частью по крестному отцу, а отец с матерью даже не знали, где находится их ребенок.

И Мишла и Вася были прописаны — один по указу об отставке, другой—по паспорту Клинского мещанина Василия Васильевича Васильева. Проживал мещанин Васильев по этому документу столько лет, сколько искала полиция солдатского сына Шведевенгера, разыскиваемого по делу Питерской коммуны в Эртелевом переулке и по другому делу, связанному с арестом Н. Г. Чернышевского. Потом он был арестован еще по делу 193-х, но как-то ухитрился удрать, и на место Шведевенгера выплыл актер Васильев.

В номере Мишла стояли две кровати и диван вроде тургеневского «самосона», поперек которого могло в ряд улечься пятеро, что иногда и бывало. В номере Васи тоже стояли две кровати и диван поменьше и тоже не пустовали. Эти два номера были явками для народников и местом их ночлега. Два номера напротив занимали один — студент Ершов, а другой—хористка Попова, знакомая Гриши Орденсона, торговца книгами, который время от времени, проездом через Москву «с товаром» останавливался у нее.

Часть багажа он обычно по приезде отдавал Васе, а остальное вез дальше, главным образом в Воронеж, где у его жены был домишко. Вася распаковывал багаж и раздавал его по назначению в Москве. По большей части это были книжки и брошюрки на тонкой бумаге для рабочих на фабриках и заводах, а иногда увесистая пачка «Народной воли».

Ночевали у Мишла и Васи разные лица. И раз в номере последнего целый месяц спокойно прожил П. Г. Зайчневский, удравший из ссылки. Не раз ночевал и я.

Как-то утром зашел к нам Мишла. В одной рубахе и в резиновых огромных калошах на босу ногу. А мы только что встали и пили чай.

— Сегодня в час приходите ко мне завтракать. Будут Нефедов, Приклонский и Глеб Иваныч. Он вчера приехал из Питера и сейчас еще спит у меня. Я хочу прочитать новый сибирский очерк. Ну так приходите. А я побегу к Генералову за закусками. Предупреждаю, водки не будет. Только пиво. Хочется серьезно прочитать.

Я немного опоздал, и, когда пришел, чтение уже началось. Не желая мешать, я сделал общий поклон и сел в сторонке. Меня с улыбкой дружеским жестом приветствовал Мишла и поклонились остальные. В первый раз я тогда увидел писателей, и сразу четырех.

На диване-самосоне сидел гигант Мишла и читал. Справа от него, вытянув во всю длину короткие ножонки, приютился у спинки маленький Вася. Он, задрав голову, смотрел на чтеца, как мышь на колокольню. Слева устроился сумрачный Нефедов, с его лысой головы наполовину сполз косматый, грубо сделанный парик. Напротив, на стуле, сидел Глеб Иванович Успенский, внимательно слушая. Он глубокомысленно резал ломтики сыра и запивал их маленькими глотками пива.

С. А. Приклонский, автор книги «Год на севере», стройный и красивый, с лицом, еще обвеянным недавними полярными бурями Ледовитого океана, курил папиросу за па-

пиросой, то-и-дело стряхивая пепел с вьющейся русой бороды.

— Два года табаку не видал! Курили с поморами мох да торф, — говорил он обыкновенно, как бы извиняясь, когда запускал пальцы в портсигар соседа.

В молчании слушали все интересный рассказ из острожной жизни.

На половине тетради чтец остановился:

— Дайте отдохнуть. Пожалуйте пока закусить. Наливайте пива.

Завтрак был сервирован на столе, с листом газеты «Русских ведомостей», только что поданным и пахнувшим краской, вместо скатерти: пол-ковриги ситного, филипповские калачи, головка голландского сыра и три вареных колбасы во всей своей неприкосновенности.

— Ну-с, режьте и ешьте!

Тогда-то Мишла меня представил обществу, назвав по фамилии.

— Друг Василия Васильевича. Вместе работают.

Меня приняли очень любезно: рекомендация была солидная.

Принялись резать колбасу, наливать пиво, батарея бутылок которого стояла на окне.

— Колбаса великолепная, еще совсем горячая!.. У нас в Петербурге такой нет. Каждый раз в гостинец привожу ее из Москвы от Генералова, — сказал Глеб Иванович.

И тут вдруг громко захохотал, поперхнулся и прыснул пивом на всех нас Приклонский.

— Ты чего ржешь? Что с тобой? — улыбнулся Мишла.

— Ха-ха-ха! Генераловская! — заливался Приклонский.

— Да в чем дело?

— В чем? Вернулся после двух лет отсутствия вчера в Москву. Иду по Тверской, все так же, как и прежде было... тот же двухэтажный желтый дом Филиппова... Тот же золотой калач над дверью висит... Рядом та же гостиница Шевалдышева. Дальше та же самая голубая, с огромными

золотыми буквами вывеска над гастрономическим магазином: «Генералов». Как раз над ней такого же размера другая старая вывеска — «Фотография»,—ну, словом, все, как и было... Издали только и видны эти две крупные надписи «Фотография»... «Генералов». Читаю да как расхохочусь на всю улицу! Народ останавливается, а я гляжу, оторваться не могу. Гляжу и хохочу. Читаю вслух «Фотография» и «Генералов» — и хохочу.

— Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Давно ль на сей земле? Да что с вами? — подает мне кто-то руку. Гляжу— мой защитник Плевако.

— Здравствуйте, Федор Никифорович! Да вы глядите, читайте, — указал я на противоположную стену.

— Ну фотография, ну Генералов, ну...

Вдруг его скуластое лицо расплылось в улыбку. Засмеялись киргизские раскосые глаза и грянул хохот на всю улицу.

Образовалась толпа. Подходят знакомые, здороваются с Плевакой. Спрашивают, что такое, а он поднимает обе руки, одним пальцем показывает на одну вывеску, другим— на другую. Все читают и хохочут, глядя на две большие золоченые свиные головы, рельефно выдающиеся посреди стены как раз между вывесками «Фотография» — «Генералов».

Приклонский хохотал, мы все ему вторили. И ведь тоже только сейчас вспомнили про эти головы. Никому и в голову не приходило. У Глеба Ивановича слезы на глазах выступили от хохота:

— Ведь каждый раз захожу к Генералову за колбасой, каждый раз, когда мимо иду, вижу эти две курносые свиные головы, каждый раз невольно читаю вывески—и никогда не думал и подумать, что это фотография генералов!.. Вот как мы, российские обыватели, запуганы генералами.

В этот день больше не читали.

Это была моя первая встреча с Глебом Ивановичем Успенским.

Прошли годы, я уже был женат. Мы встретились снова с Глебом Ивановичем в «Русских ведомостях» и подружились настолько, что он не раз у меня обедал, предпочитая домашние щи с головизной и солонину с хреном, кстати сказать, его любимые кушанья, шикарным обедам в «Эрмитаже» или у Тестова, куда водила его в дни приезда редакционная компания. И обязательно на закуску я каждый раз покупал у Генералова горячую колбасу, и каждый раз за ней мы вспоминали «Черныши» в 1876 году.

В один из таких обедов в моей скромной квартирке в доме Лавровой в Хлыновском тупике, за стаканом самодава, привезенного мне моим приятелем с Дона, я разболтался, стал рассказывать о белильном заводе Сорокина в Ярославле, о чем никогда никому не говорил. Глеб Иванович засыпал меня вопросами, а я в ответ принес ему очерк из рабочей жизни «Обреченные», который лежал у меня, начисто переписанный, но отдавать его в печать я даже не мечтал и никому, кроме своей жены, не читал.

Набросан он был еще в 1874 году на Волге, между Ярославлем и Нижним, когда я с белильного завода пробирался в Астрахань на вольные ватаги.

Из Нижнего я отослал это мое первое произведение отцу, и почти через десять лет, в 1883 году, уже твердо вступив на литературный путь, я взял у отца эти листы бумаги, исписанные карандашом, и впоследствии в свободное время их отделывал, переписывал, но все еще не решался печатать.

Великая радость охватила меня, когда Глеб Иванович, прослушав весь большой очерк, не перебивая, с влажными от волнения глазами, сказал:

— Ведь это золото! Чего ты свои репортерские заметки лупишь? Ведь ты из глубины вышел, где никто не бывал. Пиши, пиши очерки! Пиши все, что видел...

И целый час он говорил, говорил, заставлял перечитывать отдельные строки, выражения, целые сцены...

— Нет, ты сообрази... Ведь ты показал такой ад, от-

куда возврата нет... Приходят умирать, чтобы хозяин мошну набивал, и сознают это — и умирают тут же. Вот почему и страшна угроза хозяйским палатам этого рабочего над умирающим товарищем. Этого до тебя еще никто не говорил. А это будет. Другого исхода нет.

Он просидел у меня целый вечер, расспрашивал о разных подробностях, мелочах, и то-и-дело говорил:

— Этого у тебя нет. Запиши! Вставь! Сегодня же перепиши и завтра принеси в редакцию. В четыре часа я буду там.

Когда я на следующий день пришел в редакцию «Русских ведомостей», В. М. Соболевский меня уже ждал, сидя за своим редакторским столом, а Глеб Иванович тут же вычитывал свою корректуру.

В этот же вечер я исполнил просьбу Успенского, — сводил его на Хитровку. Он пришел в ужас от обстановки и далее разбойничьего трактира «Каторга» отказался итти. С Хитровки мы вместе поехали в типографию «Русских ведомостей», где я сдал срочные заметки и к величайшей моей радости увидел гранки набранных уже «Обреченных». Это была моя первая крупная работа в «Русских ведомостях», помещенная за подписью.

Я печатал уже давно рассказы и очерки в различных газетах и журналах, но не рисковал дать в «Русские ведомости», где подвалы занимались корифеями. Этим моим первым выступлением в «профессорской газете» я обязан Глебу Ивановичу, а впоследствии ему же обязан еще больше: он меня спас от тюрьмы, а может быть и от Сибири, а пока упрочил мое положение в «Русских ведомостях».

На это оказало большое влияние напечатание в № 186 1885 года «Обреченных», которые заняли три полосы «подвала», и в особенности диспут Глеба Ивановича с Н. К. Михайловским и А. И. Чупровым, доказывавшими, что пролетариата в России нет, и в опровержение их доводов Глеб Иванович привел мой очерк о белильном заводе, на котором рабочий до самой смерти не покидает завода.

— Это пока единственное гнездо зарождающегося в России пролетариата, завод, где рабочие отдают всю свою жизнь капиталу, место, откуда человек не выходит живым; если же автор очерка случайно уцелел, то это случилось только благодаря его характеру и доброму здоровью, — заявил Успенский.

Собрал я пятнадцать рассказов, разбросанных в разных изданиях за эти годы, — вышло больше десяти листов, — дал заглавие «Трущобные люди» и напечатал в типографии братьев Вернер на Арбате книжку в двести сорок страниц.

Это была первая моя книга!

С трепетом, почти священнодействуя, я читал корректуру и в гранках и уже в листах и, наконец, когда все было отпечатано, я получил один экземпляр в листах, а другой сброшюрованный был отправлен цензору.

Совершенно спокойный, надеясь, что на книге кой-что заработаю, взял я аванс в редакции, занял кроме того сто рублей для уплаты типографии в счет трехсот рублей и ждал с нетерпением выпуска книги. Она еще лежала в листах, запертая на замке в кладовой типографии. Второго экземпляра, несмотря на мои усиленные просьбы, мне не выдали.

— Подождите, получим от цензора, начнем брошюровать, тогда и дадим сколько угодно.

Когда на следующий день, 17 ноября, я пришел в типографию, Евгений Вернер, переводчик и редактор «Сверчка», встретил меня с встревоженным видом:

— Гиляй, твою книгу арестовали! Ночью приезжал инспектор по делам печати, обыскал типографию и буквально все до последнего листа твоей книги арестовал — увез, а набор велел при себе рассыпать. У самих ни гранки не осталось! И оригинал взял!

Я чувствовал себя убитым.

Бросился к председателю цензурного комитета, старому-старому Федорову.

— Уж ежели арестовали — значит хороша книга. Зря не арестуют. В Петербург уже для соответствующего распоряжения отправили экземпляр.

И больше разговаривать не стал.

Мне советовали поехать в Петербург, в главное управление по делам печати, куда послан был вместе с книгой и мотивированный доклад цензора. О чем говорилось в докладе — я так и не узнал, ибо это в цензурном комитете считалось величайшей государственной тайной.

А я был весь в долгу — и от выпуска книги у меня зависело все.

Поехал в Петербург. Явился в цензурный комитет и натолкнулся на секретаря С. В. Назаревского, которому и рассказал о своем горе. Он деликатно объяснил, что едва ли я получу разрешение на выпуск книги, что она уже с заключением главного управления рассматривается в комитете министров, а заключение неблагоприятное...

— По всей вероятности не дозволят выпустить в свет.

— Что же делать? Мне советовали подать прошение начальнику главного управления Феоктистову.

— Подайте... для очищения совести... Только едва ли... Завтра в два часа подайте лично начальнику.

Пришел на другой день в два часа с прошением о пересмотре книги и разрешении ее. Попросил курьера доложить, сбив с него важность рублевой бумажкой.

— Сейчас доложу... Только их превосходительство сегодня не в духе... Подождите.

Доложил. Я вошел. Солидный чиновник один шагал по кабинету. Увидав меня, наклонил голову, как негр во время бокса, и подошел ко мне. Я назвал себя и подал прошение.

— Что это? Прошение?

— Да.

Он взял, просмотрел.

— А марки? Марки где, я говорю?!

— Марки я наклею... Только, пожалуйста, не откажите выслушать.

— Без марок прошений не подают... Извольте наклеить марки.

Я стоял молча, растерянный.

— Идите же... приложите марки и передайте прошение в канцелярию.

Я продолжал стоять.

— Извольте итти, я кончил, — и, нагнув шею еще больше, повернулся ко мне задом.

Пока я в канцелярии наклеивал марки, — оказалось, что Феоктистов уже ушел. Прошение мне пришлось подать его помощнику Адикаевскому.

Это страшное, большое существо в вицмундире приняло меня весьма сурово и заявило, что оно знакомо с моей книгой и с заключением цензурного комитета о ее уничтожении вполне согласно.

— Там описание трущоб в самых мрачных тонах, там, наконец, выведены вами военные в неприглядном и оскорбительном виде... Бродяги какие-то... Мрак непроглядный... Н-да-с, молодой человек, так писать нельзя-с... Из ваших хлопот ничего не выйдет... Сплошной мрак, ни одного проблеска, никакого оправдания, только обвинение существующего порядка.

— Там все правда! — возразил я.

— Вот за правду и запретили. Такую правду писать нельзя. Напрасно хлопотали и марки на прошение наклеивали... Марки денег стоят-с... Уезжайте в свою Москву, вас уведомят, — он повернулся и ушел.

Ничего не понимая, спускался я по широкой лестнице с пятого этажа цензурного комитета. Свежий воздух на улице привел меня в себя — и первой мыслью в голове было: «Как же это я не побил морды Адикаевскому?»

А кулаки уже свинцом налились. Стоял я, как добрый молодец на распутьи.

Направо пойдешь — к Фонтанке попадешь, налево пойдешь — на сквер придешь, а посредине памятник Екатерине второй.

И вспомнилась шутка об этом памятнике:

Да, вышел памятник отличный,
Художник получил патент —
Близ библиотеки Публичной...
Публичной... бабе монумент!

Передо мной в этот миг выросли двое друзей: седой старик богатырского сложения и Глеб Иванович Успенский.

— Ты как здесь?.. Вот обрадовал! — воскликнул Глеб Иванович.

— Здравствуй, Гиляй!.. — облапил меня и целовал старик.

Тут только я узнал его. Это был Аполлон Николаевич Алифатов, управляющий конным заводом Орлова. А Глеб Иванович глаза вытаращил:

— Да разве вы знакомы? Аполлон, ты знаешь его?

— Ну вот еще! Наш брат-лошадник.

Мы стояли на тротуаре, я подробно рассказывал о своем горе и закончил:

— Вот и жду! Как выйдет Адикаевский — морду в клочья, ребра переломаю. А завтра Феоктистова изувечу!

И оба в один голос закричали:

— Что?! Да ты обезумел! Попадешь в тюрьму и прямо в Сибирь! А им только по ордену дадут... в утешение.

— Все равно — прежде я сам их награжу...

Друзья взяли меня под руки, но я уперся:

— Никуда не пойду!

Алифатов старался:

— Нешто его, быка, сдвинешь!.. Ну!..

Рванули и повели. Я послушно пошел.

— Да ты подумай только, как, например, Феоктистова

бить... Он уж так побит, что сам не свой ходит. Вот что про него Минаев написал:

Островский[1] Феоктистову
Затем рога и дал,
Чтоб ими он неистово
Писателей бодал!

— Ну чорт с ним! Адикаевского изувечу.

— И это глупо. Из-за мерзавца и себя и семью губить... На кого семья-то останется? А где Успенский будет борщ с ватрушками есть? А?

Алифатов все время смотрел на меня, качал головой и повторял:

— Вот дура, вот дура некованная! Вспомни: Адикаевский! Набьешь ему морду, попадешь к жандармам в ад и будешь каяться.

Мы все трое засмеялись и двинулись дальше. Пересекли Невский и зашли в меблирашки у Аничкова моста к Алифатову, где как раз остановился и я. На столе была икра, сыр, колбаса и бутылка красного вина. Закусили и выпили. Много говорили, и наконец Глеб Иванович убедил меня, что после такого ответа Адикаевского ждать нечего.

— Все равно, книгу сожгут наверное — а это большая честь: первая твоя книга, и сожгли!.. А скандалить будешь — вышлют. Схватят вот так, как мы с Алифатовым тебя тащили, да и поведут. А там начальство грозное в синем мундире сидит, а рядом жандарм здоровеннейший... И скажет тебе начальство... Ты только вообрази, что вот я, Глеб Успенский, генерал, а он жандарм.

Алифатов встал, вытянулся во фронт, руку взял под козырек:

— Так точно, васкобродие!..

— Взять этого смутьяна в кибитку—и прямо в Сибирь! Ты мне головой отвечаешь за него! Понял?

---

[1] Н. И. Островский, брат писателя, министр государственных имуществ.

— Так точно, васкобродие... Предоставим, васкобродие...

И лица у них обоих стали такие серьезные...

И вдруг мы все расхохотались, и всем нам стало весело...

Вечер мы провели у Глеба Ивановича, на Васильевском Острове, просидели за ужином до рассвета, а на другой день в почтовом поезде увез меня Алифанов в Москву. С этого дня у нас с Глебом Ивановичем установилось навсегда дружеское «ты».

В Москву я вернулся успокоенный и даже с некоторой гордостью: автор запрещенной книги!

Сочувственно отнеслись ко мне все товарищи по «Русским ведомостям», а горячее всех наборщики, всегда мои лучшие и самые близкие друзья.

В Москве в либеральных кружках заговорили обо мне и о моей книге, которая, невиданная, сделалась всем интересна, но я упорно никому ее не показывал. Она в хорошем переплете хранилась у жены, которой я подарил этот единственный экземпляр.

Славы было у меня много,— а денег ни копейки. Долги душили. Я усиленно работал, кроме «Русских ведомостей», под всевозможными псевдонимами всюду: писал и стихи, и прозу, и подписи под карикатурами. Несколько раз запрашивал я цензурный комитет о своей книге, но всегда получал один ответ: запрещена безусловно.

Встретил как-то раз издателя «Московского листка» Н. И. Пастухова, и он сообщил мне:

— Главного инспектора сегодня утром видел. Поехал в часть твою книгу жечь... Только смотри, это страшный секрет!

— Как жечь? Отчего же меня не уведомили?!

— А вот сожгут, и не узнаешь. Я сказал сегодня инспектору, что вообще книги жечь очень глупо.

— Конечно глупо! — обрадовался я такому либеральному взгляду у редактора «Московского листка».

— И даже очень! Какая польза от того и кому? Надо запрещенные книги не жечь, а резать на мелкие куски и продавать на фабрику в бумажную массу. Ведь это денег стоит! Инспектор поблагодарил меня, хочет проект внести об этом.

— В какой части жгут мою книгу?

— В Сущевской. Только гляди, меня не подведи.

Через несколько минут лихач домчал меня до Сущевской части. С заднего двора поднимался дым. Там, около садика виднелась толпа пожарных и мальчишек. Снег кругом был покрыт сажей и клочками бумаги. Я увидал специальную печь из железных прутьев — точь-в-точь клетка, в которой везли Пугачева, только вдвое выше. В ней догорала последняя куча бумаги, которую шевелил кочергой пожарный. Пахло гарью и керосином, которым пропитался снег около печи... Начальственных лиц не было уже никого — все разъехались. Я обратился к пожарным, спросил по знакомству, что жгут.

— Книгу какую-то запрещенную... Да и не книгу, а листы из типографии... Вот остатки догорают... И что за книга — никто не знает. Один листок только попал, на цыгарки взяли, да и то не годится — бумага толста.

Я взял у пожарных этот единственный измятый лист с оторванным на курево уголком. Вверху каждой страницы было напечатано: «В. А. Гиляровский. «Трущобные люди».

Всего в моих руках оказалось восемь страниц, и я до сего времени берегу эту реликвию. Я после узнал, что проект инспектора по делам печати был принят, он получил награду, и после моей книги уж ни одной в Москве не было сожжено — резали на полосы и отсылали на бумажные фабрики. Железная печь была заброшена в пожарный сарай, и только во время революции 1905 года ее извлекли пожарные-кузнецы и перековали на свои надобности.

А мне осталось утешение, что последняя книга в Москве была сожжена — моя!

ПЕВЕЦ ГОРОДА

Половина июня, а уж кандидаты на выигрыш дерби начинали определяться, хотя владельцы на утренних галопах старались скрыть резвость своих крэков[1], пуская их совершенно неожиданно не с определенных мест, а где-нибудь внутри круга, иногда по мягкой дорожке, или делают галопы в два часа ночи, на рассвете. Июнь — боевой месяц московских скачек, и с рассвета до восьми-девяти часов утра владельцы лошадей и спортсмены всегда присутствовали на работах. Посторонних зрителей не бывало прежде всего потому, что пускали на ипподром только своих, да кроме того, жокеи скакали без камзолов, в пиджаках и фуражках — так что лошадь узнать не знатоку не было возможности и глядеть, не зная, что за лошади скачут, интереса не представляло. Владельцы входили внутрь круга, где проводили лошадей, шептались с тренерами, отдавали приказания жокеям,— любители сидели скромно за чайком вокруг мраморных столиков посреди партера. Накануне больших скачек весь цвет скакового спорта присутствовал здесь.

Солнце еще только сверкнуло лучами на крышах высоких зданий, а граф Г. И. Рибопьер в сопровождении К. А. Петиона уже показался на росистой траве круга. Рибопьер любовался трехлетками своего завода, детьми «Эола» и

[1] К р э к — фаворит.

«Астарота», и обсуждал шансы на приз с тренером Митчелем. Рибопьер, вице-президент скакового общества, был в гусарской форме, а Петион, состоявший при нем в менажерах [1], его товарищ по гвардии, — в штатской, но так же «гордый и ясный», как и его принципал. Рибопьер очень гордился своим графством, хотя титул этот и фамилию предок его получил по милости Екатерины II за заслуги, о которых потомок избегал распространяться. Придворный парикмахер Пьер был особенно миловиден, когда смеялся, и Екатерина часто говорила ему: «Ris, beau Pierre [2]. Отсюда и пошла фамилия, а потом к ней присоединился и графский титул. Петион о своих предках молчал, потому что в те времена иметь дедом одного из крупнейших вождей Французской революции было, конечно, возможно, но говорить об этом было рискованно. Чуть ли даже не из-за этого родства Петион, гвардейский офицер, в отставку принужден был выйти.

Вот два рыжих трехлетка в попонах ринулись внутрь круга с места... Петион щелкнул секундомером—все спортсмены поднялись у своих столиков и взялись кто за бинокль, кто за часы... Все караулили конюшню Рибопьера, откуда ждали дербиста.... К Рибопьеру подошел генерал Арапов, лошади которого уже отскакали: тренер его, Николай Чураев, проверил их, еще когда чуть брезжило, и теперь наблюдал конкурентов...

Братья Иловайские, донские коннозаводчики, тоже пустили своих красавцев, детей знаменитого Дир-Боя, купленного ими у донского коннозаводчика, скакуна Максима Денисова из Пятиизбянской станицы, прямого и единственного потомка Степана Разина, что Денисову ставилось в вину начальством и отзывалось на успехах службы...

Как журавль на болоте, в дальнем углу ипподрома, недвижно стоял польский коннозаводчик Людвиг Грабов-

---

[1] Менажер — заведующий хозяйством, управляющий.
[2] Ри, бо Пьер — посмейся, красавец Пьер, произносится: Ри.

ский. Своего трехлетка, который, как он верил, должен вне конкуренции взять дерби, Грабовский не пускал сегодня, потому что много собралось публики. Этот страстный охотник любил скаковую публику только в те моменты, когда его лошадь, взявшую большой приз, публика поощряла аплодисментами. Тогда Грабовский прямо от весов еще не остывшего скакуна брал левой рукой за повод и проваживал перед трибунами под аплодисменты публики, размахивая ответно цилиндром, поднятым выше головы лошади...

Братья Ильенко, украинские коннозаводчики, всегда скакали только на лошадях своего завода и сажали на них только своих жокеев-украинцев, которых так воспитывали, что они являлись самыми опасными конкурентами и в скачках побивали англичан. Таковы были Воронков и Дудак.

Круг оживал все больше и больше. Появились члены скакового общества с биноклями. Они разместились в беседке для действительных членов, куда члены-любители не допускались. Сюда им подавали кофе и легкий холодный завтрак. Здесь были казак Платонов с солдатским георгием, А. Ф. Шереметьев, М. Л. Пеховский, Ф. Ф. Достоевский, сын знаменитого писателя, казначей общества... Вот в беседку внесли на кресле княгиню А. М. Хилкову — она давно уже лишилась ног, но без лошадей жить не может. А сегодня привезли ее посмотреть трехлетка «Вальса», сына «Лагурьена», любимого производителя ее завода. На «Вальса» она возлагала большие надежды и любовалась красавцем жеребцом под жокеем Пучковым, промчавшимся по призовому кругу возле самой беседки...

Дербисты отскакали. Пошел старший возраст и ездокиохотники. На препятствиях пробовал новую лошадь, кажется, Вервену, ротмистр Сумского гусарского полка Г. Н. Зворыкин, не пропускавший ни одной скачки с препятствиями. Он падал несколько раз, и его уносили с круга замертво, говорили, что у него «семь ключиц» сломано — а он все скачет и добросовестно берет призы. Соколов весьма удачно пробовал на «ирландском банкете» какую-то норови-

стую лошадь и лихо справился с опасным препятствием... Брал барьеры прекрасный ездок Манич. Ему из-за столиков аплодировали, но не за езду, а по другой особой причине: кроме скакового спорта он занимался комиссионными делами. Года два назад он по поручению фабриканта Постникова продал его роскошный дом на шоссе, примыкавший садом к скаковому двору, фабриканту Коншину. В саду был небольшой пруд с карасями. При составлении у нотариуса купчей Манич выговорил себе в добавок комиссии карасей в пруде, на что Коншин согласился, и в купчей написали, что караси в пруде принадлежат Маничу. Прошло два года, Коншину понадобилось выстроить для своей рысистой конюшни здание, для чего необходимо было засыпать пруд. Когда приступили к работам, Манич заявил, что он не позволяет трогать его рыбу. В конце концов за десяток карасей Манич получил с Коншина двенадцать тысяч рублей.

Но вот барьеры убрали, и часов с семи начали скакать лошади, следить за резвостью которых интересено было уже только их владельцам да игрокам в тотализатор. Когда все скаковое начальство ушло, стала собираться посторонняя публика. Приходили любители провести утро на свежем воздухе и полюбоваться лошадьми. Ввалилась раскрасневшаяся компания прямо из отдельного кабинета «Яра». Предводительствовал компанией завсегдатай «Яра» Иван Иваныч в своем неизменном цилиндре над огромными усами. Он занял столик, а сам подошел к соседнему столику, где сидели солидный пожилой мужчина с рыжей бородой и другой, с коротко подстриженными усами, а на стуле стоял гимназист и в бинокль наблюдал лошадей.

— Яков Кузьмич, меня просил цыган Федор Соколов спросить вас — выиграет ли сегодня гандикап ваш Еврипид? — Иван Иваныч расправил усы, поздоровался и сел за столик.

— Думаю, что не выиграет... Мы сейчас вот с Бараниным рассуждали... Он ведь его тренирует — и говорит, что шансов нет — фунтов пять сбросить бы.

— Ну, а «Этна» как? Она на поощрительный приз скачет...

— «Этна» не в кондициях... Так, для галопа пускаем! — вдруг, соскочив со стула, отрезал гимназист. Сел, отвернулся и снова взялся за бинокль.

Иван Иваныч извинился, встал и направился к своей компании.

— «Этна» сегодня легко выиграет, но если этому усатому сказать — он разблаговестит, и дадут за нее гривенник на рубль, — заявил гимназист, как только Иван Иваныч отошел.

— Ты уж у меня, Валерий, известный политик... Все у тебя рассчитано, — ответил мужчина с рыжей бородой, отец гимназиста.

В тотализатор он обычно не играл, только каждый раз брал на свою лошадь один билет и то не ради азарта, а просто так, без всякого расчета. За билетом он посылал сына, а тот, когда знал наверное, что лошадь выиграть не может, клал деньги в карман и говорил отцу:

— Я ставить не буду и страхую твой выигрыш, даром жечь денег не следует. А на эти деньги я книг куплю...

— Ах, дипломат, дипломат! И все-то у тебя с «холодным вниманием рассудка».

Яков Кузьмич, развитой и начитанный, любил щегольнуть цитатой, особенно за стаканом вина, в дружеской беседе. Чистокровные лошади были его страстью.

— «Чистокровная лошадь — красота и сила», «резвость есть сумма силы», — то-и-дело бросал он в разговорах со спортсменами такие афоризмы.

У него было всего только две лошади второстепенных — «Этна» и «Еврипад». Они стояли на конюшне тренера Баранина, выигрывали редко, а все-таки окупали себя и доставляли огромное удовольствие владельцу, страстному любителю скачек, как и его сын, гимназист. Со стариком Брюсовым я был знаком по «Славянскому базару», где он завтракал, приходя из своего городского амбара. Он был под-

писчиком спортивного журнала, который я редактировал, а главным читателем журнала был его сын. С обоими я постоянно встречался на скачках. Однажды сын пришел ко мне в редакцию раскрасневшийся, взволнованный, и робко подал статью по вопросу, в то время сильно волновавшему спортсменов. Написано было бойко, освещение верное. Я ее напечатал в ближайшем номере, и велика была радость юноши, увидавшего в печати свое первое произведение. После этого В. Я Брюсов еще написал несколько спортивных статей, а затем, уже будучи студентом, навсегда бросил спорт и перешел на поэзию и науку. Впоследствии он мне прислал книжку своих стихов «Русские символисты», с посвящением и подписью авторов: «Валерий Брюсов и А. Миропольский». Мы время от времени начали встречаться, но близкого знакомства как-то не завязывалось.

Весной 1900 года ехали мы случайно вдвоем в купе из Москвы по Александровской ж. д. Конечно, завязался разговор о поэзии, о современных поэтах, о литературных течениях и общих знакомых.

— Мы — люди разные. Вы человек степи, певец воли и удали, а мы люди города. Мы износились в городе, но все-таки я его люблю.

Надо заметить, что Валерий Яковлевич говорил года за три до своего увлечения Верхарном.

— Вот в «Забытой тетради», в стихотворении «Каменный город», вы говорите:

Сгубят меня эти камни...
Годик побыть бы на воле...

А мы вот без города жить не можем, — продолжал Брюсов.— Город для нас все, мы боимся степного простора.

И он прочел несколько стихотворений. Тут все—и «улицы, кишащие народом, шумные дикой толпой», и «ушедшие в небо ступени», «застывшие громады зданий», и «грохот его, и шумы певучие».

— Вот ответ на ваш «Каменный город», слушайте:

Мы дышим комнатною пылью,
Живем среди картин и книг,
И дорог нашему бессилью
Отдельный стих, отдельный миг...

Я отвечал ему отрывками из «Стеньки Разина», «Запорожцев», своими песнями о море, степи, горных бурях, ночных ураганах... «Разина» я ему прочел всего, с запрещенными тогда главами.

— О если б это напечатать! Это сплошь революция.

— На Волге начали, на Дону кончили.

— Да, это в городе не могло родиться...

Вернувшись осенью в Москву, я нашел у себя на столе письмо от Валерия Яковлевича, в котором он говорил, что посылает мне продолжение нашей вагонной беседы, а меня просит прислать ему всю, с запрещенными главами, поэму «Стенька Разин». В другом пакете лежала книга «Tertia vigilia». Рубрика «города» два раза была подчеркнута карандашом. А на первой странице стояло такое посвящение:

В. А. Гиляровскому.
Все мы жалки и тощи
В этой дряхлой вселенной,
В мире бледных кикимор.
Слава радостной мощи
Все ж в тебе неизменной,
Гиляровский Владимир.

Валерий Брюсов. 1900

Потом мы часто встречались в литературно-художественном кружке, где Брюсов был директором. Но эти встречи на народе имели совсем другой характер, чем та, в вагоне. Здесь Брюсов казался совсем другим, словно он вышел из врубелевского портрета, в официальном сюртуке, застегнутом, как футляр, на все пуговицы, а сверху на груди еще руки скрещены.

Видал я его иногда и на литературных «вторниках», а также на разных юбилейных ужинах. Встречи эти были

минутные, но когда мы жали друг другу руку, лицо его теряло обычную холодную корректность, на губах расцветала дружеская улыбка, и вся его фигура оживала, выходила из своей статуйности,— радостно каждый раз встречались. Но никогда при этих встречах не происходило у нас обмена взглядов на то или другое течение в литературе. Я следил за литературными и разнообразными научными работами Брюсова и, вспоминая его слабую, бессильную фигуру, дивился работоспособности дышавшего «комнатной пылью» человека, у которого «отдельный стих — отдельный миг...» В его переводах Верхарна я находил много знакомого, много того, что слышал пять лет назад, в вагоне между Москвой и Шелковкой, от «певца города», которому был понятен

Грохот его и шумы певучие.

Мало-помалу с годами Брюсов становился другим. В нем клокотал уже отзвук вулкана революций, он уже предвидел

Океан народной страсти,
В щепы дробящий... трон...

«На этих всех, довольных малым, вы, дети пламенного дня, восстаньте смерчем, смертным шквалом, крушите жизнь и с ней меня»...

И город стал не тот, что тогда, когда он писал свои «Tertia vigilia». Теперь он славил город:

«И когда среди крови, пожара и дыма неумолимо толпа возвышает свой голос мятежный,— все прошлое топчет в прахе, играет со смерчем в кровавые плахи...»

Так задолго еще до первой революции начинает сказываться будущий поэт Октября.

Шли годы. Менялись отношения между людьми. А мы оставались друг к другу неизменными. Насколько пони-

мали мы и любили друг друга, может быть ясно из следующего эпизода:

В 1911 году, под осень, я заболел воспалением легких. Тотчас же я почувствовал, что болезнь серьезна, и я могу наконец сломиться,— значит надо кое о чем распорядиться, подумать. Я решил обратиться к единственному в Москве человеку, которому мог в этом случае довериться,— хоть вся Москва была мне знакома — Валерию Яковлевичу.

С постели вызвал его по телефону и говорю:

— Валерий Яковлевич, у меня воспаление легких, температура выше 39, и мне необходимо вас повидать. Именно вас одного — и никого более. Заразного ничего нет, и если бы вы...

— Ну что же, я через час, ровно через час приеду к вам,— перебил он меня и, еще раз сказав: — через час я у вас,— положил трубку.

Часы пробили шесть. Жду. Поставил термометр: 39.

Но вот я услыхал звонок у двери. Жена пошла встречать и через минуту ввела Валерия Яковлевича. Часы пробили семь.

— Дядя Гиляй! Да разве степному орлу полагается хворать?—И Брюсов протянул мне руку. Я не хотел ему подавать своей, но он взял насильно и крепко пожал. Я ответил.

— Э, дядя Гиляй, руку сломашь, ведь мы городские!

— Валерий Яковлевич! Прошу выслушать — и дайте слово, что меня не перебьете до конца.

— Даю.

— Мне очень плохо. Сегодня ночью я уж чуть не оказался на том свете. Если не перенесу — исполните мою огромную просьбу.

И я рассказал ему, как бы мне хотелось видеть изданными мои работы.

— Ну вот видите, дорогой дядя Гиляй, первую вашу просьбу я исполнил. А она была очень трудная, — не перебивать вас, когда вы, извините, несете чушь. Вторая же ва-

ша просьба — совсем легкая, я с легким сердцем даю вам слово исполнить ее в точности, так как вполне уверен, что мне ее исполнять не придется: через две недели мы с вами будем в «Кружке» пить ваш любимый карданах... Вы любую болезнь ветром развеете... А вот если вас придавит рухнувшим домом в городе или в степи грозой убьет — иначе вас никакая смерть не возьмет,— то даю слово сделать все, что вы сказали.

За чаем Валерий Яковлевич рассматривал мой альбом и написал в нем стихи. Был ли это экспромт, появились ли они в печати, не знаю.

Меня поманит ли улыбкой
Любовь, подруга лучших лет,
Иль над душой, как влага зыбкой,
Заблещет молний синий свет —
На радости и на страданья
Живым стихом отвечу я,
Ловец в пустыне бытия
Стоцветных перлов ожиданья.

Валерий Брюсов

«На добрую память» о прошлом В. А. Гиляровскому 29 сентября 1911 года».

Часы били девять, когда он ушел.

Потом он несколько раз справлялся по телефону, а через две недели, действительно, мы пили с ним в литературно-художественном кружке карданах.

Во время немецкой войны мы ни разу не встречались, выходило так,—что, когда он в Москве — я в отъезде, и наоборот.

Только после Октября мы стали встречаться чаще, но опять на минуты. Один раз только в 1920 году подольше побеседовали в театре Зимина на каком-то митинге или спектакле. Сидели за кулисами в артистической уборной,

пили чай и ели жадно бутерброды с лошадиной колбасой. Между прочим обменялись экспромтами. Что ему я написал,— не помню, а он занял целую страничку моей книжки:

«Другу моего отца и моему, В. А. Гиляровскому — Дяде Гиляю.

Тому, кто пел нам полстолетья,
Не пропустив в нем ни штриха,
При беглой встрече рад пропеть я
Хотя бы дважды два стиха.

20 июля 1920 г.
Валерий Брюсов

На моем полувековом юбилее, 3 декабря 1923 года, Валерий Яковлевич был товарищем председателя юбилейного комитета. Чувствуя себя не совсем здоровым, он все-таки приехал и в своем приветствии вспомнил, как он гимназистом принес ко мне свое первое произведение и как был счастлив, когда я напечатал его первый литературный труд. И здесь в последний раз я видел Валерия Яковлевича, слышал его, говорил с ним.

Через месяц праздновался юбилей поэта в Большом театре, но юбиляр, еще не поправившийся после болезни, мог только незримо присутствовать в глубине темной директорской ложи бенуара, рядом со сценой.

Я знал о состоянии его здоровья, знал, что он сидит в ложе за драпировкой. И он грезился мне таким же усталым и бледным, каким был на моем юбилее, и, читая свое приветствие, я стал на правой стороне сцены и обратился к ложе, но его не видел. В своем стихотворении я хотел напомнить его речь, его воспоминание юных дней, и оно начиналось так:

Помню я, в серенькой блузе
Ко мне гимназист приходил...

ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ

На Моховой, бок-о-бок с Румянцевским музеем — ныне Ленинской библиотекой, — у входа в «меблированные комнаты» остановился извозчик, и из саней вылез мой приятель, художник Н. В. Неврев. Мы, так сказать, столкнулись.

— Зайдем к Саврасову, возьмем его с собой и пойдем завтракать в «Петергоф».

Я не был знаком с Алексеем Кондратьевичем Саврасовым, но преклонялся перед его талантом. Слышал, что он пьет запоем и продает по трешнице свои произведения подворотным букинистам или украшает за водку и обед стены отдельных кабинетов в трактирах.

Поднимаясь в третий этаж, Неврев рассказал мне, что друзья приодели Саврасова, сняли ему номер, и вот он уже неделю не пьет, а работает на магазины этюды...

— Я вчера к нему заходил, — прекрасную вещь кончает... Пишет с натуры через окно сад и грачиные гнезда... Нарочно сейчас приехал к нему посмотреть.

Дверь была чуть приотворена. Мы вошли. Два небольших окна глядят в старинный сад, где между голых ветвей, на фоне весеннего неба, чернеют гнезда грачей.

Мне вспомнились слова И. И. Левитана:

— Я ученик Алексея Кондратьевича.

В комнате никого не было. Неврев пошел за перегородку, а я остановился перед мольбертом и замер от восторга:

свежими, яркими красками заря румянила снежную крышу, что была передо мной за окном, исчерченную сетью голых ветвей берез с темными пятнами грачиных гнезд, около которых хлопочут черные белоносые птицы, как живые на голубом и розовом фоне картины.

За перегородкой раздался громкий голос Неврева:

— Да вставай же, Алеша! Пойдем в трактир... Ну же, вставай!

Никакого ответа не было слышно.

Я прошел за перегородку. На кровати, подогнув ноги, так как кровать была коротка для огромного роста, лежал на спине с закрытыми глазами большой человек с седыми волосами и седой бородой, как у библейского пророка. В «каютке» этой пахло винным перегаром. На столе стояли две пустых бутылки водки и чайный стакан. По столу и на полу была рассыпана клюква.

— Алеша,— тормошил Неврев.

— Никаких! — хрипел пьяным голосом старик.

— Никаких! — повторил он и повернулся к стене.

— Пойдем,— обратился ко мне Неврев, — делать нечего. Вдребезги. Видишь, клюквой закусывает, значит надолго запил... Уже я знаю: ничего не ест, только водка да клюква.

Потормошил еще — ответа не было. Вынул из кошелька два двугривенных и положил на столик рядом с бутылками:

— Чтобы опохмелиться было на что, а то и пальто пропьет.

Неврев был в восторге от картины:

— Ведь это же старый Алексей Кондратьевич. Вчера утром я подмалевку видел, а сейчас почти закончено... Надо присмотреть, чтобы спьяна не испортил... Забегу к нему завтра утром...

Так я в первый раз видел знаменитого художника, одного из основоположников русского пейзажа. Это было 25 марта, в солнечный день, в конце 80-х годов.

Потом как-то через год или два я зашел однажды в эстампный магазин «Ницца» и увидел знакомую картину, ту самую, которую я видел в номере на Моховой. Внизу стояла подпись красной краской «А. Саврасов», видно, что сделанная дрожащей рукой.

— Я видел у Саврасова эту картину,— заявил я владельцу магазина.

— Это не она, а повторение. Та картина давно продана, но Алексей Кондратьевич делает повторения. Да это уж далеко не то. Совсем старик спился... Жаль беднягу. Оденешь его — опять пропьет все. Квартиру предлагал я ему нанять — а он свое:—Никаких,—рассердится и уйдет. Как раз вчера писал у меня. Есть еще такие повторения, и не плохие. В прошлом году с какой-то пьяной компаний на «Балканах» сдружился. Я его разыскивал, так и не нашел... Иногда заходит оборванный, пьяный или с похмелья. Но всегда милый, ласковый, стесняющийся. Опохмелю его, иногда позадержу у себя дня на два, приодену — напишет что-нибудь. Попрошу повторить «Грачи прилетели» или «Радугу». А потом все-таки сбежит. Ему предлагаешь остаться, а он свое: — Никаких!..

Видел я Саврасова еще раз, великим постом, когда он ехал по Мясницкой с Лубянской площади, совершенно пьяный, вместе со своим другом Кузьмичом, который крепко его держал, чтобы он не вывалился из саней. Кузьмичом звали И. К. Кондратьева — старого писателя, работавшего в журналах и писавшего романы для издателей с Никольской. Жил он всегда на «Балканах» в Живорезном переулке, куда, видимо, и вез Саврасова, приютившегося у него.

Зима того года, когда мы встретились, была с самой осени снежная. Весь февраль — кривые дороги — сплошь метели. Поезда дальнего следования запаздывали. иногда на

сутки, а на московских крышах, с кратерами вокруг труб, алмазные на солнце плато снега нависали большими белыми губами над тротуарами. Тогда не особенно следили за очисткой крыш, да и сбрасывать снег было весьма рискованной работой — заградительные решетки на краю крыши были редки.

Март в самых первых числах дохнул весной, иногда лишь порошил сырой снег с полчаса: «Молодой за старым идет»,—говорили. Температура поднялась выше нуля. Солнце подогрело и снег начал сползать с крыш, валиться целыми глыбами, а на жолобах повисли алмазные хрустальные сосульки. Вдоль тротуаров по мостовой бежали мутные ручьи.

Пробираясь по Петровке, я остановился на тротуаре и задумался, где бы наскоро позавтракать. Напротив в актерском ресторанчике «Палермо» «неугрызимые» бифштексы и телятина под бешемелью с тухлинкой. В доме Левенсона на Петровке же — ресторан-низок Трехгорного завода, тоже дрянь, хоть и назывался литературным, потому что в этом доме прежде помещалась редакция «Русского слова».

Пораздумав, решил отправиться в «Россию», которая прежде называлась татарским рестораном. Ее держали татары, а потом снял необыкновенно толстый грек Венизелос или Владос — не помню точно имени. Он надвигался своей громадной тушей на гостя и гудел сверху, так как толщина не позволяла ему нагибаться.

— Позалуста. Цудак по глецески. Позалуста. Тифтели из филе а ля Владос (или Венизелос, не помню),—рекламировал он меню.

Я остановился на тифтелях, но когда еще раз поднял глаза на Петровку, то решил итти завтракать домой.

Петровские линии, самая чистая улица Москвы, единственная тогда покрытая асфальтом, напомнила мне легенду о Вавилонском столпотворении в момент, когда после смешения языков строители разбежались и нахлынувшие

аборигены начали разбирать леса и сбрасывать нагроможденные одна на другую каменные глыбы.

Я стоял и дивился. Грохали лавины снега. На крышах обоих домов с десяток рабочих, привязанных веревками к трубам, лопатами двигали и рушили вниз громады легко сползавшего снега...

По обе стороны тротуары были отделены от середины улицы снеговыми хребтами. Проезда не было, а проход, не без риска, конечно, был по самой середине мостовой. У подъезда ресторана два швейцара в картузах с золотыми галунами прокладывали лопатами путь, просекая траншею поперек снегового хребта. Я шел домой. Через Столешников переулок переправлялась толстая дама, хлюпая по мокрому снегу и балансируя на скользких выбоинах, что было весьма не легко: правой рукой она поддерживала подол модного тогда длинного платья, а в вытянутой левой руке держала муфту и шляпную картонку с надписью: «Вандраг», заменявшие ей необходимый баланс при опасной переправе...

Я остановился на углу Столешникова. На середине переулка кое-где обнажались булыжники мостовой, по которым скрежетали полозья извозчичьих саней и чмокали на ухабах копыта лошадей... По обеим сторонам, вдоль тротуара громоздились кучи снега, сброшенного с крыш, и среди них серели каменные тумбы. Тогда тумбы были еще обязательны на всех улицах. Эти глупые тумбы являлись пережитками еще тех почти доисторических времен, когда деревянные мостки, заменявшие тротуары, ограждались ими от лошадей и телег.

На углу Столешникова и дальше по Петровке, где теперь огромный дом № 15, тогда стояли дома Рожнова. Там помещались магазины, между прочим модный шляпный магазин Вандраг, булочная Савостьянова, парикмахерская Андреева. А между ними большая гостиница «Англия» с трактиром, когда-то барским, а потом извозчичьим и второстепенным. Во дворе находились два двухэтаж-

ных здания меблирашек и стоянка для извозчичьих лошадей...

Вход в трактир был со двора, а другой и въезд во двор со стороны Столешникова переулка.

И вот на тротуаре около этих ворот я увидел в спину огромную фигуру, в коротком летнем пальтишке, в серых отрепанных брюках, не закрывавших разорванные резиновые ботики, из которых торчали мокрые тряпки. На голове была черная изношенная широкополая шляпа, в каких актеры провинциальных театров изображают итальянских бандитов. Ветер раздувал косматую гриву поседелых волос и всклокоченную бороду.

Я подошел ближе. Он правой рукой шарил в кармане и сыпал на ладонь левой копейки. Я взглянул в лицо.

— А...

Я узнал Саврасова, когда-то любимого профессора Училища живописи, автора прославивших его картин «Грачи прилетели», «Разлив Волги под Ярославлем»...

Много я видел его этюдов и рисунков по журналам — и все на любимую тему — начало весны.

— Алексей Кондратьевич, здравствуйте.

— Погоди... четыре... пять...— считал он медяки.

— Здравствуйте, Алексей Кондратьевич!

— Ну? — уставился он на меня усталыми покрасневшими глазами.

— Я — Гиляровский. Мы с вами в «Москве», в «Волне» работали.

— А, здравствуйте! У Кланга?

— Да, у Ивана Ивановича Кланга.

— Хороший он человек... Ну вот...

А сам дрожал, лицо было зеленое...

— Вот собираюсь опохмелиться. Никак не могу деньги собрать... за подкладку провалились.

— Вот что, Алексей Кондратьевич. Пойдем ко мне,— предложил я,—выпьем, закусим...

— Куда же это?

— Вот рядом, в дом, где балкон.

Он вдруг поднял голову, воззрился на что-то, посвежел, помолодел как-то сразу, глаза загорелись. Ткнул меня в бок, а правой рукой указывал на крышу церкви напротив, на углу Петровки.

— Гляди, гляди!..

По крыше тихо сползала лавина снега, а на ней сидела ворона, что-то торопливо, энергично долбившая клювом. Лавина двинулась быстрей, нависла на миг всей массой над тротуаром. Часть ее оторвалась и рухнула вниз, распугав, к счастью, благополучно прохожих, а на другой половине, быстро сползавшей, ворона продолжала свое дело. И когда остальное снежное плато рухнуло, ворона приподнялась, уселась на самом жолобе и стала глядеть вниз на упавший снег: то одни глазом взглянет, то повернет голову — и другим...

— Какая прелесть!..— радовался старик.

Должно быть, убедившись, что все потеряно, ворона улетела, и снова потух старик.

— Пойдемте,— позвал я его и взял за руку.

— Лучше бы в трактир, напротив. Да вот деньги-то...— и он опять зашарил в кармане.

— Денег-то у меня тоже нет.

Я взял его за руку, и мы зашлепали по растаявшему тротуару.

— Одет-то я... Нет, не пойду! — уперся было он на лестнице.

— Да у меня отдельная комната, никого не встретим.

Я отпер дверь и через пустую прихожую мимо кухни провел его к себе, усадил на диван, а сам пошел в чулан, достал валенки-боты. По пути забежал к жене и, коротко сказав о госте, попросил приготовить поесть.

Принес, дал ему теплые носки и заставил переобуться. Он долго противился, а когда надел, сказал:

— Вот хорошо, а то ноги заколели!

Встал, закозырился, лицо посвежело, глаза улыбались.

— Ишь ты, теперь хоть куда. Штаны-то еще новые...— и снова сел.

В это время вошла жена — он страшно сконфузился, но только на минуту.

— Алексей Кондратьевич, пойдемте закусить,— пригласила она.

С трудом дрожащей рукой он поднял стаканчик и както медленно втянул в себя его содержимое. А я ему приготовил на ломтике хлеба кусок тертой с сыром селедки в уксусе и с зеленым луком. И прямо в рот сунул:

— Закусывай — трезвиловка!

Он съел и повеселел:

— Вот так закуска!..

А жена ему тем временем другой такой же бутерброд приготовила.

— Не разберу, что такое, а вкусно,— похвалил он.

После второго стаканчика старик помолодел, оживился и даже два биточка съел — аппетит явился после «трезвиловки».

Разговорились. Вспоминали журналы, выставки, художников. Он взял со стола карандаш и спросил бумаги.

— Привык что-нибудь чертить, когда говорю... А то руки мешают.

Я подал ему альбом и карандаш.

Просидел у меня Алексей Кондратьевич часа два. От чая он отказался и попросил было пива, но угостили его все-таки чаем с домашней наливкой, от которой он в восторг пришел.

Я предложил Алексею Кондратьевичу отдохнуть на диване и заставил его надеть мой охотничий длинный пиджак из бобрика. И хотя трудно его было уговорить, он всетаки надел, и когда я провожал старика, то был уверен, что ему в обшитых кожей валенках и в этом пиджаке и

при его летнем пальто холодно не будет. В карман ему я незаметно сунул серебра.

Жена, провожая его, просила заходить не стесняясь, когда угодно. Он радостно обещал, но никогда не зашел,— и никогда больше я его не встречал, слышал только, что старик окончательно отрущобился и никуда не показывается.

Я его видел только три раза, и все три раза в конце марта, когда грачи прилетают и гнезда вьют...

В моем альбоме он нарисовал весну... избушку... лужу... и грачей...

И вспоминаю я этого большого художника и милого моему сердцу человека каждую весну,— когда грачи прилетают.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ



В. А. Гиляровский в 80-х годах.



ФОГАБАЛ

Холодно. Побурела трава на опустелом ипподроме. Ни дверей, ни окон у остатков каменных зданий... Прежде отделялось высоким забором от Ходынского поля здание на дворике, где взвешивались на скачках жокеи, и рядом стоял деревянный домик смотрителя круга. Кое-что осталось от садика перед домиком, забор и загородка садика уничтожены и из окошек домика открывается вид на голое Ходынское поле и Ваганьковское кладбище. В домике живет семья... Голодает, холодает. Дрожит ночью, когда идут мимо толпы бесприютного и бродяжного люда — но как-то ее никто не трогает — должно быть, сразу видно, что взять нечего. Жильцы флигелька вынесли октябрьскую бомбардировку, когда из Ходынских казарм слали снаряды в Кремль, и на следующий год ночной пожар скаковых трибун рядом с их жильем, от которых остались эти «железные удавы» — куча изогнутых от жара рельс и балок.

Сегодня, гуляя по оголенному осеннему парку, я прошел сюда, на самую середину круга — и воспоминания роятся и свертываются в клубок, и яркими гирляндами и живыми цветочными клумбами рисуются пять этажей трибун, полных в день дерби летними платьями дам, огромный партер вдоль всего этого ажурного железного здания, которое ни с какой постройкой и сравнить нельзя... Ну, а с чем можно сравнить ирландский банкет посредине? Это

головоломное препятствие, на которое решались скакать только самые отважные спортсмены! Он такой же, как и был. Высокий вал между двух широких канав. Лошадь скачет сначала через одну канаву на гребень вала, а с него уже вторым прыжком берет вторую канаву, за два раза перепрыгивая в ширину более семи метров и всегда теряя около минуты на этом препятствии. Нередко на нем ездоки и кости ломали и лошади калечились.

Еще в те дни, когда существовала деревянная беседка, в день розыгрыша самого почетного приза разыгрывался однажды стипльчезный приз с ирландским банкетом. На последний записалось трое известных победителей на скачках с препятствиями. Все трое — гвардейские офицеры из Петербурга; четвертым записался совершенно неожиданно совсем молодой офицер, улан, младший брат скаковых коннозаводчиков Евгения и Сергея Ильенко — Иван. Он скакал на лошади, им самим выезженной и тренированной одновременно для скачек и для службы в полку.

Прозвучал звонок к стипльчезу. Со старта выделился ротмистр К. на своем выводном крэке. Взял три зеленых барьера на дорожке и понесся внутрь круга, корпусах в пяти впереди всех, на банкет... Трое соперников почти голова в голову скакали вслед за ним. Вот его белый китель мелькнул на мгновение на валу банкета, чтобы тотчас появиться на другой стороне второй канавы и легко уйти от конкурентов, которые еще должны были остановиться на вершине вала перед вторым прыжком. Но тут произошло нечто поразительное — все это было делом одного момента. В то время когда вороной конь К-на еще только собирался прыгнуть, трое конкурентов уже подлетели. Страшным посылом Ильенко выбросил своего скакуна и мимо белого кителя на вороном коне мелькнул белый китель на золотисто-рыжем, который не остановился на гребне вала, а птицей перелетел и обе канавы и вал и очутился сразу впереди вороного на пять корпусов, да так и не уступил ни пяди до самого призового столба. В трибунах творилось

что-то небывалое: в момент прыжка раздалось тысячеголосое «ах», а затем такие аплодисменты, каких старая беседка еще не слыхивала.

Через много лет так же аплодировали Гагарину, тоже взявшему сразу обе канавы на полукровной англо-донской кобыле «Красивой», и Виллебрандсу на английском стиплере «Чатартоне». И больше никогда это не повторилось ни у «джентльменов», ни у жокеев, даже англичан, кстати сказать, весьма не любивших «ирландского банкета».

После этой блестящей победы молодой Ильенко сбросил военный мундир и весь отдался скаковому коннозаводству. По зимам он с братьями работал на Харьковском конном заводе, летом занимал должность старшего члена московского общества и сам, как и его братья, тренировал свою призовую конюшню и писал в спортивных журналах статьи в защиту чистокровной лошади. Он, Иван Михайлович Ильенко, был одним из главных создателей этих единственных в мире многоэтажных скаковых трибун, которые сейчас вот лежат передо мною в виде этой горы чудовищных удавов, иногда блестящих, иногда матовых, с кое-где проступившими кровавыми пятнами ржавчины...

Я присел на выгнутую, скрюченную пылом пожара рельсу и задумался. Вот вижу сквозь ажур рельс человека, выходящего из флигелька. Он, опираясь на палку, устало двигается к развалинам трибун. На нем короткий нагольный полушубок, какие носят в кавалерии конюхи, и защитная фуражка с красной звездой; седая борода гвоздем, седые усики... да это Ильенко?

Да, это Иван Михайлович Ильенко. Это его семья обитает здесь. Он остался верен скаковому кругу: во время немецкой войны он бросил скачки и ушел к своему старому товарищу генералу Брусилову, был с ним в боях до конца кампании, потом вернулся в этот убогий флигелек к семье, а при советском правительстве его снова пригласил Брусилов на работу по коннозаводству, был он полезен го-

сударству знанием дела до тех пор, пока, наконец, по болезни не оставил службы персональным пенсионером и не кончил жизни рядом с «ирландским банкетом».

Я вышел на скаковую аллею, вдоль проезда между шоссе к трибунам и почти против маленького домика, где много лет жил секретарь скакового общества Н. П. Лебедев, и здесь увидал... и опять поразился—уж очень не ко времени было то, что я увидал: передо мною появился человек в длинном черном, еще недавно модном сюртуке с разрезом сзади и в цилиндре!

Все что угодно я мог ожидать—но цилиндр на четвертый год революции, да еще сюртук-редингот. По всему видно было, что человек этот гулял—и по спокойным движениям, и по сложенным назад рукам с тоненькой тросточкой. Легкий ветерок раздувал его огромные, светлые усы. Взглянув на них, я сразу узнал его:

— Иван Иваныч!

Это был редкостный тип, который мог создаться только в купеческой Москве, только в ее веселящемся кругу мог жить, наслаждаться, кушать самые изысканные блюда, посещать театры, ежедневно слушать хоры в лучших загородных ресторанах и присутствовать на ипподромах, не пропуская ни одного скакового или бегового дня, и при этом никогда он, единственный, не поставил ни одного рубля в тотализатор, потому что никакой игры не любил — это, во-первых, а во-вторых, никогда почти у него этого рубля и в кармане не было.

А между тем он всегда одевался у лучших столичных портных Сиже или Жоржа, цилиндр носил только от Вандрага и всегда самого последнего фасона. Не признавал он пиджаков и визиток, а неизменно зимой и летом был в модном сюртуке, прекрасно сидевшем на его плотной фигуре с округлым брюшком и являвшемся лучшей рекламой для портного. Поверх этого сюртука — тоже всегда, зимой

и летом — пальто из легкой материи и затем желтые лайковые перчатки. Ни в какой мороз он не застегивался, уши и лицо его, всегда румяные, не признавали мороза — и так он ходил, бывало, в открытом партере зимних бегов, и к нему в антрактах то-и-дело подходят люди в лисьих шубах, бобровых воротниках и собольих шапках, что-то шепчут, исчезают и вместе возвращаются на свои места, прожевывая закуску и еще более разрумянившиеся. В свою объемистую утробу Иван Иваныч мог поместить невероятное количество всяких вин, в состоянии был пить иногда круглые сутки, перепить и уложить влоск несколько кутящих компаний, — а сам, что называется, ни в одном глазу — только лицо становилось еще краснее. И таким я видел его десятки лет в Москве, неизменно здоровым и жизнерадостным. Годы от него как-то отскакивали, не оставляя никаких следов, светло-русая голова его попрежнему была без одного седого волоса, как и огромные, выхоленные усы, за которые, да и за всю фигуру вместе, звали его Фарлафом.

— Ты совсем Фарлаф, Иван Иваныч.

— А что такое Фарлаф? Что это, едят? — спросил на бегах за завтраком купчик из Таганки, единственный наследник умершего миллионера, одетый в лисью шубу.

— Вот и я такой же дурак был, как ты, пока уму-разуму люди не выучили, — строго сказал ему Иван Иваныч и сразу смягчил: — это из оперы.

— Я в театре еще отродясь не бывал, тятенька был строгий, меня никуда не пущал из дома...

— Ну ладно, пойдем сегодня в театр, отсюда поедем к Тестову, а оттуда в театр, как раз Фарлафа увидим.

— Что же? Покорнейше благодарим, я с нашим удовольствием... Надо мною старших теперича нет...

И у Ивана Иваныча явился новый воспитанник, за образование которого он с этого дня, к великой радости молодого купчика, и принялся.

— Облома обламываю, — рекомендовал он своего воспитанника близким друзьям.

На другой день он повел купчика к Сиже, где заказал модное платье, и к Михайлову на Кузнецкий мост, где купил пальто на хорьковом меху с бобровым воротником, — потом обедать в Эрмитаж, а вечером слушать цыган у «Яра». Воспитание началось. Купчик в восторге тратил деньги на кутежи, но Иван Иваныч ни разу не попросил взаймы — он знал, что этого купец боится: пей, ешь, что хошь, а денег попросить нельзя, скажет — объегорить хочешь. И никогда Иван Иваныч не занимал денег у своих клиентов, он получал проценты с Сиже, с Михайлова, с Хлебникова, с ресторанных счетов. На это он одевался и платил за квартиру, катался, как сыр в масле, а денег карманных больше красненькой или четвертной на извозчика и на чай у него никогда не водилось. Бывали случаи в начале этой его профессии, после кутежа, когда какой-нибудь таганский оболтус, заплатив огромный счет у «Яра», бросал сотни три хорам, он пробовал просить:

— Сидор Мартыныч, дай мне сотенку, надо за квартиру платить.

— Че-го? Ну, брат, на эту удочку меня не пымаешь. Пей, ешь, сколько влезет, а сухими ни-ни. Лучше и не заикайся, если хошь компанию со мной водить.

А все-таки купцы лезли к нему, и пообедать и поужинать с Иваном Иванычем считалось чуть ли не за честь. А главное, он умел заказать — и важные метрдотели у «Яра» или в «Стрельне» подобострастно выслушивали его заказы — уж очень хорошо он гастрономию знал.

Иногда, когда кутила компания купцов, понимающая толк, то в отдельный кабинет, где сервировался обед или ужин, являлись: в «Стрельне» сам Натрускин, а у «Яра» сам «Апельсин»—так все звали хозяина этого ресторана за его круглое, чисто выбритое лицо, действительно цвета почти что апельсина-королька.

И оба эти владельца ресторанов дивились его уменью

заказать самые дорогие кушанья и назвать номера вин всех фирм без ошибки, не глядя в прейскурант, — а также и особо дорогие вина из погреба этих ресторанов.

— А вот у вас, Иван Федорович, не осталось ли бутылочки сухой мадеры Серцеаль, которую вы купили после Кузнецова Александра Григорьевича, из его собственных садов на Мадере?.. Я помню, в прошлом году вы удивили нас с Голицыным.

— Как же-с, Лев Сергеевич заплатил мне за три бутылки и велел оставить их на текущем счету.

— Да... да... триста рублей, кажется, вы с него взяли.

— Помилуйте, Иван Иваныч, разве это много? Ведь я сам купил из погреба наследников дюжину за восемьсот рублей, насилу выпросил. Две бутылки остались только. Берегу, как зеницу ока.

— Тащи их сюда. Чего там говорить!

— Одну-с, Иван Иваныч, дам, одну уж позвольте оставить.

— Тащи обе... Одну с собой возьму—мне можно только сухое вино.

— Слушаю-с... А свой салат к индейке вы сами, конечно, приготовите, Иван Иваныч?

— Просим, просим! — в один голос зашумела вся компания богача Сумского, сахарозаводчика, большого гурмана и гурмана-мученика вместе с тем: он страдал сахарной болезнью, но иногда рисковал кутнуть и всегда уже в таких случаях приглашал Ивана Иваныча — тот знал, что ему можно и чего нельзя.

Так жил и блаженствовал десятки лет этот купеческий арбитер элегантиарум [1] купеческих кутил.

Я помню его с 1876 года. Он бывал в Артистическом кружке с Сережей Губониным и тогда еще имел торговлю в городских рядах, где над магазином шелковых изделий

---

[1] Arbiter elegantiarum — «законодатель мод». Так называли Петрония (автора «Сатирикона») в римском обществе во времена Нерона.

красовалась вывеска: «Рошфор и Емельянов». Рошфор был француз, Емельянов — коренной москвич, отец Ивана Иваныча. Последний, еще двадцатилетним малым, сперва ходил в картузе и поддевке, по-купечески, раза три со стариком Рошфором ездил в Париж за «модьем», но после третьей поездки, продолжавшейся около двух месяцев, так как Рошфор там с месяц прохворал и месяц отдыхал после болезни, вместо «Ванятки» в картузе, бородатый, в долгополом сюртуке, родитель своего единственного сына увидал франтом, одетым по последней моде и причесанным а-ля Капуль, в желтых перчатках и цилиндре. А когда отец по обыкновению повел его завтракать в «Дыру» под Бубновским трактиром, то сынок предложил отправиться наверх в парадные бубновские залы и там, призвав хозяина, стал ему заказывать такие блюда, что тот глаза вытаращил, а отец рассердился, сказал ему: «Лопай сам»,— и ушел в «Дыру» хлебать солянку из осетрины и есть битки в сметане.

С тех пор Иван Иваныч уже не снимал с себя цилиндра, а когда я поселился в Москве в 88 году, то у него уже не было никакой торговли. После смерти отца Рошфор выставил его из своей фирмы — но он не унывал и стал появляться у «Яра» в компании своих друзей-купцов, которых раньше он угощал и которые теперь угощали его, преклоняясь перед его уменьем устраивать пиры.

И вот этот самый Иван Иваныч сейчас быстро обернулся и, перехватив палку в левую руку, заторопился снять перчатку с правой и веселым взглядом приветствовал меня.

Чисто выбритый, ухоженные усы, те же огромные, шелковистые, без одной сединки, цилиндр, слегка набекрень, как и прежде, и неизменный, так недавно еще модный сюртук, залоснившийся и вытертый, но без пылинки, сидевший теперь на нем, как на вешалке. От чичиковской округлости брюшка и следов не осталось и не было пол-

ноты румяного лица, слегка побледневшего, но еще свежего, это был на вид так мужчина лет сорока пяти-пятидесяти.

— Гуляете? — относя в сторону во всю длину руки цилиндр, улыбнулся он.

— Да, засиделся в городе, за три года первый раз решил в парк пройти.

— И прямо сюда пришли? Знать... Невольно к этим грустным берегам... и вас влечет неведомая сила? — докончил он. — А я здесь каждый день гуляю... Да итти-то мне... — помните, как у Достоевского Мармеладов говорит, итти некуда. А сам пошел в пивную... А теперь и пивных нет... Вот мне так итти действительно некуда. Тетка у меня на Якиманке была, распроединственная моя родственница — да и та пропала без вести... Женат я не был, старые друзья по пьяному делу смыты, «кого уж нет, а те далече». Спасибо еще управляющий домом, где я тридцать лет живу, там, на Башиловке, дал мне комнатушку, заваленную книгами... Живу в ней и перечитал всех классиков, о которых прежде и понятия не имел. Знал, что есть Пушкин, потому у «Яра» в Пушкинском кабинете его бюст стоял. Вот встану, попью вместо чаю кипяточку с черным сухариком, почищу цилиндр — их у меня три осталось, — вычищу сюртук, побреюсь, — каждый день для поднятия духа бреюсь, — а потом сюда, гулять...

Я слушал и не знал, что сказать.

— Пережил всю революцию, пожаром трибун всю ночь любовался...

— А отчего они сгорели?

— Кто знает? И спросить некого... Э, да что и говорить. Ведь мне под семьдесят, — а ни одного седого волоса, никаких катаров не мог напить... И в довершение всего аппетит, как и прежде, прекрасный, — а есть нечего.

Во время этого разговора мы дошли до бульвара и сели на уцелевшей лавочке, против бывшего «Яра». Я вспомнил, что у меня в кармане большой кусок прекрасного

швейцарского сыра, который по дороге сюда я купил у кого-то из-под полы на мосту у вокзала.

— Да-с, Владимир Алексеевич, все кончилось. Кончились «Яр», «Мавритания», «Стрельна»... все... все... А без них и я кончаюсь... Хоть бы чем-нибудь их вспомнить, — а там хоть и умирать.

— Ну, что же, вспомним! Видишь, Иван Иваныч? Ну-ка, понюхай!

Я вынул из кармана чуть просалившуюся от слезки бумагу с куском сыра и поднес к его носу. Он с удивленным видом откинул голову, так что цилиндр чуть не слетел, и воскликнул:

— Швейцарский сыр! А у меня ножик есть.

Он вынул обломок ножика и подал мне. Я развернул сыр и отрезал ломтик.

— Да разве так можно? Что вы!

Он быстро снял обе перчатки, сунул их в карман и заявил:

— Руки у меня чистые.

Он взял у меня нож и сыр.

— Грех так доброе портить. Может быть, да и наверняка, пожалуй, я такой сыр в последний раз ем, так позвольте уж...

И он начал резать тупой стороной ножа, и сыр свертывался в трубочку, становился ароматным, пушистым, мягким и таял на языке..

— Такой сыр не режут, а гофрируют.

Он священнодействовал, и мы молча съели треть куска.

— У-ух! Вот отвел душу. Жаль, что хлеба нет.

Он передал мне кусок сыру, я разрезал его пополам, завернул в бумагу и один кусок положил себе в карман, а другой отдал ему.

Он поблагодарил меня, взял нож и свой сыр разрезал на две равные части, одну половину нарезал ломтиками уже острием, завернул и положил в один карман, другую в другой.

— Зачем вы его так нарезали?
— Ничего, он и так съест, он гофренья не поймет.
— Кто?
— Фогабал. Вы помните его?
— Еще бы! Ильенковская лошадь.
— Да не лошадь, а гимназист — Фогабал.

Да, я помню и гимназиста Фогабала.

Я видел его в гимназическом пальто и в щегольском костюме на скачках и оборванцем в «Перепутье».

«Перепутье» — это был трактир против «Яра». В «Яре» кутили богатые спортсмены, а «Перепутье» в дни бегов и скачек и накануне их был всегда переполнен играющими. Они перед состязанием являлись сюда, чтобы узнать шансы фаворитов у жокеев, наездников и «жучков», отмечали «верную лошадку» и нередко угадывали, а больше жульничали. В числе «жучков» помню я высокого, бледного, волосатого блондина, с зари дежурившего на ипподроме и следившего за проездкой лошадей. К концу состязаний он всегда бывал пьян, но лошадей знал хорошо, и его отметкам все верили.

Никто не знал его настоящего имени, и он откликался на «Фогабала».

— Милый Фогабалушка, отметь афишечку.

Этот полупьяный оборванец сыграл громадную роль в истории спорта: обе роскошные трибуны выстроены благодаря ему.

Скачки и бега на Ходынке существовали с половины прошлого века. Бега тогда разыгрывались еще по трем дорожкам: каждая лошадь бежала по отдельной. Посещали ипподром только настоящие охотники, любители лошадей, да в праздничные дни приезжали немногие москвичи подышать свежим воздухом и полюбоваться зрелищем.

Так и перебивались с хлеба на квас оба императорские общества — скаковое—дворянское и беговое—купеческое. Сборы были нищенские и призы только для почета.

В конце семидесятых годов секретарь Московского скакового общества М. И. Лазарев за границей познакомился с тотализатором и ввел его на скачках. Первое время билеты были только рублевые, лошади скакали по две, по три, редко по пять. Игра не шла потому, что увлекающий азарт отсутствовал. В каждой скачке была известная всем лучшая лошадь, которая и обходила легко соперников, а потому и выдавали выигрывавшим не больше гривенника на рубль.

Двойного тотализатора еще не было.

Когда скакал знаменитый «Перкун», выигравший ряд призов в Англии и непобедимый в России, больше гривенника никогда не платили. Да «Перкун» никогда и не проигрывал.

— Банк, а не лошадь, — говорили расчетливые игроки. Некоторые брали на него билеты десятками, чтобы наверняка, как ренту, получить два-три рубля.

— Десять процентов в три минуты: и вход и извозчик оплачены.

Лопнул банк!

Было жаркое солнечное воскресенье во второй половине августа. Нарядная публика разукрасила убогую беседку скачек. Галлерея, ложи и ряды деревянных скамеек, поднимавшихся амфитеатром, были заняты аристократической и купеческой Москвой, партер — спортсменами и франтами в светлых костюмах. Около касс тотализатора, публики, по обыкновению, было мало. Тогда еще игра шла слабая. Самой интересной в этот день была скачка непобедимого «Перкуна», с которым скакали три достойных его соперника с лучшими жокеями-англичанами. На «Перкуне» ехал, считавшийся тогда первым, жокей Амброз,—это окончательно

обеспечивало победу «Перкуна». На остальных трех, записанных, уже не думая о первом призе, только в надежде получить второй или третий, скакали Клейдон, Конер и Шелли. На пятой лошади, принадлежавшей И. М. Ильенко, собственного его завода, «Фогабале», скакал только что вышедший из конюшенных мальчиков жокей Воронков. Все билеты в тотализаторе стояли на «Перкуна». Публика играла наверняка: лучше гривенник нажить, чем рубль прожить. Нашлись охотники и «резануть», т. е. поставить на других лошадей, вернее на жокеев-англичан, и только в «Фогабала», а главное, в жокея Воронкова никто не хотел верить:

— Харьковский хохленок супротив четырех англичан!

Опустил стартер флаг. С места ринулись скакуны, впереди всех Амброз, с улыбкой уверенности в своей победе. Иногда он оглядывался на Клейдона и Конера, голова в голову поспевающих за ним. Близко к ним скакал молоденький, розовый, как девушка, Шелли, а сзади, почти в хвосте у него, коренастый Воронков на своем «Фогабале», который шел спокойным махом, будто и не участвовал в скачке, а так, для галопа трепался.

В последнем повороте Воронков легким посылом перегнал Шелли и приблизился чуть-чуть к двум соперникам, в хлысте наседавших на «Перкуна». Пришлось и Амброзу взяться за хлыст, — начали резаться во-всю все трое, и все-таки «Перкун» был на корпус впереди.

И вот Воронков, сохранивший силы, уже перед самым призовым столбом уверенным посылом выбросил своего «Фогабала» и легко, без хлыста, пришел первым на целый корпус впереди Амброза.

Так с этого дня и осталось прозвище за Воронковым — «хитрый хохленок».

А что было в беседке! И партер, и ложи, и галлерея — все гудело, ругало англичан... Всех и вся поносила неистовая публика. Требовали назад деньги. На «Фогабала» никто не играл, оказался поставленным билет только в одной

кассе, и его взял какой-то гимназист, который не имел понятия о лошадях, а просто подошел, вынул рубль и сказал:

— Дайте нумер третий.

Цифра ли ему понравилась, мечтал ли он о тройке за латынь, а получил груду кредиток — тысячу триста девятнадцать рублей на свой рубль, которые он, вытараща от волнения глаза, не считая рассовывал по карманам своей старой блузы и серого пальто. Счастливца окружили, смущали в продолжение всего антракта, терзали разнообразными вопросами и оставили его лишь, услыхав звонок новой скачки.

В следующем антракте его не нашли. Кто он был, никто не знал.

В газетах на другой день была описана победа «Фогабала» и неизвестный гимназист, получивший за рубль тысячу триста девятнадцать рублей. Даже люди, никогда не посещавшие скачек и не знавшие слова тотализатор, заинтересовались, конечно не лошадьми, а возможностью выиграть тысячу на рубль. И через день на следующих скачках, несмотря на будни, публики было вдвое больше, а в воскресенье, через неделю, деревянные трибуны были переполнены, игра шла во-всю.

Непонимающая публика стала играть на всех лошадей даже тогда, когда фаворит бесспорно был непобедим, и на фаворитов поэтому стали выдавать уже по полтине на рубль. Игра для знатоков лошадей стала верным и выгодным делом, ставки увеличились, оборот тотализатора сделался громадным. Затем ввели тотализатор и на бегах.

А единственный виновник успеха — гимназист «Фогабал», — ему другого имени не было, — сделался завсегдатаем ипподрома, бросил гимназию, служил некоторое время хористом, а потом окончательно сошел с круга, спился и кончил свою карьеру «подзаборным жучком».

— Да, Иван Иваныч, видал я его, этого главного виновника успеха тотализатора, того самого, что и скаковые и беговые трибуны выстроил. Как же, знаю. Все знаю!

— Все, да не все! Во всем этом в первую голову виновник я... Я выстроил эти трибуны, и только я. Я создал азарт, я лишил чести и карьеры молодого человека. Даже человеческого имени его лишил! Превратил в лошадь — «Фогабал»! Вместо имени у него осталась кличка.

И начал Иван Иваныч изливаться, пересчитывая жертвы азарта.

На глазах у него выступили слезы.

— Один я виновник!

— Успокойтесь, Иван Иваныч! Что вы?

— А вот, слушайте! Тогда на скачках, как вы знаете, только что ввели тотализатор. Как вы помните, игра вначале была очень маленькая. И вот, чтобы развить игру, управление скачек щедро раздавало контрамарки. Много их давали хористкам у «Яра» и в «Мавритании», главным образом цыганкам и певцам, чтобы они своих поклонников из богатого купечества приводили. Ну и ходили те, потому что даром билеты получали, хотя проигрывали гораздо больше, чем была плата за вход. Да такова уж натура у купца, — ему хоть рвотного, да даром.

Мне присылали на каждые скачки по несколько контрамарок, зная мое большое знакомство. Я раздавал их и сам неукоснительно ходил. Мне это было необходимо даже, — оттуда я гостей к «Яру» водил. Так вот в одно из воскресений прислали мне пять контрамарок, а я накануне обещал дать три штуки чиновнику сиротского суда, он рядом со мной на даче жил. За дачу платил сто рублей, частенько обедал и ужинал у «Яра», а жалованья в месяц получал, хотя и столоначальником был, всего семь рублей в месяц. Оклады были в этом суде все такие, с Екатерининских времен еще, а чиновники шуровали на сиротские денежки, с опекунов взятки брали огромные. Ну, понес я ему контрамарки, — он как раз с женой чай пил, и с ними тут

же сидел взрослый гимназист, учитель их детей, зашел получить плату за уроки. Бедняк, круглый сирота, у дяди, хориста Большого театра, жил. Отдал я три контрамарки, а четвертую предложил гимназисту, который никогда на скачках не бывал. Он взял с радостью.

В тот же день я его увидел и на скачках, тотчас после выигрыша. Он сидел у кассы на скамейке, бледный и расстроенный. Показал мне деньги. Тут я узнал все и отвез его домой. После этого он запутался, заиграл, сначала в тотализатор, потом в карты. Наконец попал в сумасшедший дом, пробыл там несколько лет, а на-днях опять сюда вернулся. Я видел его третьего дня на скаковом кругу, среди развалин беседки на кругу.

Там после пожара лежит, — поглядите, любопытно, — огромная куча скрюченных, изогнутых огнем рельс и железных балок. Эту кучу я не раз видел, а тут вдруг почему-то жуть забрала... Дело было к вечеру... шел я и вдруг услышал из кучи странный, надтреснутый голос.

Жутко стало, а в то же время любопытство одолело. И что же, по другую сторону, увидел я, стоит огромный старик с длинными волосами, с всклокоченной бородой, оборванный, и ревет во весь голос, — не поет, а действительно ревет: «Вот мельница, она уж развалилась...»

Вгляделся я и узнал мою жертву — Фога́бала!

Подошел. Глаза безумные, лицо бледное, даже синеватое какое-то.

— Фогабалушка? Здравствуй, милый!

А он поднял над головой руки, потом стал ими хлопать по бокам как крыльями и опять заревел:

— «Я ворон здешних мест!» — Потом узнал меня и заплакал.

Иван Иваныч снял цилиндр и протянул мне руку.

— Прощайте. Я ему сырку снесу... Он там, в подвале живет.

Иван Иваныч тихо зашагал чеерз шоссе, ни разу не оглянувшись. Только у входа в скаковую аллею остано-

вился, снял цилиндр, махнул мне и тотчас же, двинувшись дальше, скрылся за поворотом аллеи. Это был последний цилиндр, который я видел.

Я продолжал одиноко сидеть на уцелевшей бульварной скамейке против «Яра», этого великолепного храма разгула прожигателей жизни, — роскошного каменного и стеклянного дворца, выросшего из старого деревянного здания, одновременно с железными и каменными трибунами, воздвигнутыми на месте старых, деревянных. Иван Иваныч, который когда-то говорил: «На мой век хватит «Яра» и «Стрельны»,—говорил это уверенно, глядя на новый каменный «Яр», выросший за счет тотализатора. Публика скачек и бегов была постоянной публикой этого ресторана.

Как на службу, являлся ежедневно Иван Иваныч в сверкающий огнями и переполненный щегольской публикой ресторан. Входил лоснящийся, пузатый, гордым и вместе с тем добродушным взглядом окидывал все столы и, направляясь к эстраде, за свой постоянный столик, раскланивался направо и налево.

— Иван Иваныч! Иван Иваныч, к нам! — раздавалось со всех сторон.

И он каждому отвечал, каждого по имени-отчеству называя, и садился там, где компания казалась ему наиболее подходящей. Он везде был желанный гость.

И вот я вспомнил сейчас, когда увидел его в первый раз, почему обратил на него внимание. Обстановка, при которой это произошло, неповторима, как и люди того времени, и стоит того, чтобы описать ее, а происходило все это более полувека назад.

ПОД «ВЕСЕЛОЙ КОЗОЙ»

В. Н. Андреев-Бурлак рассказал как-то в дружеской компании случай, происшедший с ним на Нижегородской ярмарке.

— Приезжаю я из Москвы с утренним поездом. Пью в буфете кофе. Садится рядом со мной толстяк с алмазным перстнем на указательном пальце. На жилете гремит брелоками золотая цепь.

— Вот и вы приехали! — покровительственно треплет меня по плечу. — Как-то наши с вами дела пойдут, Василий Николаевич, на ярмарке?»

— А вы тоже артист? — спрашиваю.

— Как же! Мы с девицами приехали. Целый вагон привез, и в заведения и на «Самокаты»...

«Самокаты» я знал с 1874 года, когда совершенно случайно попал в Нижний.

Они существовали задолго до этого и были закрыты губернатором Н. М. Барановым в холерный 1892 год и никогда, насколько мне известно, не были описаны.

Весной 1874 года, после того как я вырвался с белильного Сорокинского завода в Ярославле, после зимы каторжной работы, я очутился на палубе самолетского парохода, бежавшего на низ, и совершенно неожиданно попал в Нижний на ярмарку.

О пароходах на Волге никто никогда не говорил: «плывет», «едет», «идет», а всегда — «бежит». Никто из пассажиров-волгарей не скажет: — «Я плыл, я ехал...» — Нет! Обязательно скажут так:

— Туда мы побежали на «Самолете», а оттуда я прибежал на «Дружине».

И, действительно, глядя, как пароход вертит огромными колесами и шлепает по воде плицами колеса, будто ногами ступает, остается впечатление, что он именно бежит...

Итак, я побежал на изящном розовом пароходике о-ва «Самолет», с черной прямой трубой, опоясанной широкой красной полосой, и с белым флагом на корме. На нем желтой краской был изображен какой-то рисунок, из которого я помню две скрещенные медные трубы. Это означало, что пароход почтовый.

А символ трубы обозначал почту, потому что у сидевших рядом с кучером провожатых почтовых дилижансов были точь-в-точь такие медные трубы, в которые они всю дорогу неистово дудели:

«Берегись, мол, почта идет!»

Не едет. Нет, а идет... Почта пришла... Почта отходит в семь утра...

Вот и побежал я на «Самолете», запасшись краюхой ситного, воблой, выправив билет третьего класса.

Тогда билеты не покупали, а «выправляли».

Старинное слово это осталось от тех времен, когда еще пароходов не было. Теперь просто каждый подходил к кассе на пристани, платил деньги, получал билет и только. Может быть это слово возникло по связи получения билетов с получением паспортов? Паспорт или заменяющий его документ для кратковременной отлучки не покупался сразу — надо было хлопотать, тратиться, чтобы его «выправить».

Сижу я на корме на круге якорного каната. Любуюсь красавцем-городом на высокой горе с белыми домами на набережной, бульваром в яркой весенней зелени, Творицами за Волгой... Вон там те же самые скаты бревен, где

я три года назад, придя пешком из Вологды, увидал бурлаков Малафеевской расшивы, груженной хлебом. Тут меня и наняли на путину до Рыбны, и пошли мы в этот кабак за водкой, — а потом на базар за лаптями, а оттуда к тому песчаному ухвостью, за которым стояла расшива.

Ночевали мы на сыром песке, а на заре я, в новых лаптях, впрягся в лямку и зашагал в ватаге вверх по матушке по Волге. Взяли меня на место бурлака, который вчера, уже под самым Ярославлем, упал в лямке и тут же умер, на берегу, и тут же его зарыли в песок в густых тальниках.

Чуть не четверть ватаги за путину переумирало. Холерища семьдесят первого года на Волге была жестокая. Насмотрелся я этих холерных смертей в нашей ватаге, а уж там, в Рыбне, где я прокрючничал лето, валом валила она народ.

Посмотрел я на наш завод на высоком берегу: грязно-желтый, обнесенный высокой стеной, острогом глядит. Звали его «бурлацкое кладбище», потому что редко кто выходил оттуда живым. Отравлялись свинцовыми белилами, чахли и умирали.

— Чу! Труба и колокольчики...

Над нами по набережной пролетела куда-то пожарная команда... Я узнал высокого старика брандмейстера.

О, сколько пережито за эти три года! И атаман Репка и Костыга, как живые, перед глазами. И порка розгами солдата Орлова... И кулачные бои... А в ушах звенит голос нашего запевалы бурлацкого, его песня о пуделе, которой я после никогда не слыхал:

Белый пудель шаговит, шаговит...

. . . .

Черный пудель шаговит, шаговит...

. . . .

Раздолье Волги летом, пьяный вой Будиловского притона зимой, а кругом зимогоры, зимогоры... «Рвань коричневая», то слезливая, забитая, то «удалы добры молодцы» — непокорные, которым удержу нет.

Зимогоры — верхне-волжское яркое слово, обозначающее тех, которым зимой горе.

И я — недавний зимогор, вырвавшийся на волю... Да еще с билетом на почтовом пароходе «Удалой», тогда одним из самых резвых на верхнем плесе.

Второй свисток прогудел над головой и выбросил в воздух один за другим два снежных облачка пара. Сквозным серебром забелели они на голубом небе, расплылись прозрачным кружевом и бесследно растаяли...

А с верховьев Волги с продолжительным свистком бежал сероватый легкий пароход с трехцветным торговым флагом, часто хлюпая плицами, и стал делать круг, чтобы стать, как полагается, носом против течения. Он ловко завернул, пришвартовывался к своей, такой же сероватой пристани, с таким же трехцветным флагом на мачте. Над колесами я разобрал надпись: «Велизарий».

— Тихомир здорово опоздал. Со злости вдрызг налимонился, всех разнесет, — громким голосом говорил кому-то наш усатый капитан в морской, с белым верхом фуражке.

— Ему зарез. В Ярославле всех пассажиров прозевал. В Костроме тоже мы всех заберем, — ответил кто-то невидимо для меня.

И тут же три свистка и три облачка белого пара заклубились на лазури и медленно растаяли над нами, когда «Удалой», повернув носом вправо, захлопал лопастями по забурлившей воде, выбрался на стрежень и прямо побежал вниз.

И «Велизарий» выбросил два облачка, побольше наших, дал два продолжительных, каких-то злых, тревожных свистка, будто у того, кто давал свисток, дрожала рука.

Пассажиры с носа перешли на корму и шутили над

«Чумовым Тихомировым». Ехавшие на «Удалом» из Рыбинска удивлялись задержке там «Велизария», который должен был бы по расписанию выйти через десять минут после нас.

Кругом шли разговоры о Тихомирове. Из них я узнал, что когда он напьется пьян, то идет «капитанить» и устраивает бешеную гонку с «Самолетом». И так всю навигацию— кроме месяца Нижегородской ярмарки. Тогда пароходом правит опытный капитан-старик из лоцманов, а его хозяин со дня поднятия флага на ярмарке вплоть до закрытия ее безвыходно кутит по всем притонам, до «Самокатов» включительно.

Я бродил по пароходу и чувствовал себя, как говорится, на седьмом небе...

Еще рано утром я бросил мою рвань на базаре и переоделся во все новое: синяя рубаха в полоску, короткая суконная поддевка, сапоги гармонией и картуз с лаковым козырьком. Я оделся именно так, как всегда щеголял Демка, конюх при цирке Василия Ивановича Вольфа. Я года два дружил с Демкой, и во время моих скитаний без паспорта и под чужим именем я, когда нужно, выдавал себя за циркового конюха, так как эта профессия никаких подозрений не возбуждала, а цирк — всеми любимая тема для разговоров, которой я и пользовался в случае нужды.

Так я решил поступать и впредь. Переодевшись в лавчонке около Будилова трактира, я уселся на тумбе, и местный седой Фигаро из старых солдат взял с меня за стрижку пятак, заявив, что остриг «под польку».

Он сразу угадал, что я с белильного завода, и посоветовал мне итти на Волгу и промыть волосы.

Это напоминание о белильном заводе укололо меня, и совершенно успокоился я только тогда, когда, купаясь, извел полкуска казанского мыла.

Я, гуляя по пароходу, поднялся на мостик, на который допускались только классные пассажиры, и меня никто не

остановил. Я понял, что с недавним прошлым кончено и что никто не подумает, что я вчера еще был обреченным на гибель рабочим белильного завода и что еще сегодня утром был зимогор.

Быстро бежал «Удалой». Сзади чуть-чуть послышались три свистка: «Велизарий» отваливал. Едва ли скоро догонит.

Увидав, что спектакля не ожидается, пассажиры разбрелись с кормы. Я спустился и снова сел на канаты.

Выползли из душного кубрика два матроса и, сев рядом со мной, принялись колотить воблу о перила.

— Собачий барин остановки требует! — указал один из них, зубами сдирая шкуру с янтарной рыбины.

Далеко впереди лодка с пассажирами отваливала от высокого правого берега, где среди зелени сверкал на солнышке белый дом с колоннами.

— Это Собачий барин? — спросил я.

— Он самый.

И вспомнились рассказы старых бурлаков Костыги и Улана. Вспомнились и ночи на белильном заводе, когда бывалый бурлак Суслик, развлекавший всю казарму в долгие бессонные ночи своими бывальщинами да сказками, не раз упоминал Собачьего барина.

— На этом самом месте, — говорил он, — с испокон века бурлацкая перемена, а потом она закончилась. Приехал из Питера барин, выстроил усадьбу, — она и сейчас цела пониже Ярославля, — белый дом на горе, весь на виду. Стал по летам наезжать сюда на жительство. Дело еще было при крепостном праве, дворня огромная, собак уйма: охотиться гости из Питера прибывали, — все важные баре. Не понравилось барину, что его бурлаки беспокоят тем, что ночуют на берегу, что кашу варят, песни поют и барынь своим видом пугают. И начал он наши ватаги собаками травить на ходу, а ежели на перемену остано-

вятся, то ночью на нас, на сонных, налетали охотники верховые и арапниками пороли. Так года два зверовал барин да на Репку и наткнулся. А репкина ватага—так бурлачков полсотни — всегда богатырь к богатырю была подобрана. Затеял барин потеху, сам с пьяными гостями высыпал, напустил на бурлачков своих охотников, — а Репка ждал. Ну и отчихвостили наши ребята господишек и их холуев по-бурлацки. На Репку наскочил сам барин с арапником. Схватились они в рукопашную, на чертолом облапились, — картинно рассказывал Суслик эту бывальщину и заканчивал: — Барин помер. Стройка дворовая сгорела, — только дом остался, бурлаки перевелись, а место и по сю пору зовут Собачий барин.

Да, бурлаки перевелись и шахма по берегу Волги тальником заросла, а Волга оживала с каждым днем. Навстречу нам попались три парохода, тащившие баржи с хлебом, — «Самсон», «Громобой» и «Бурлак», да один еще почтовый самолетский, такой же, как наш, светлорозовый, с красным поясом на черной трубе и золотой надписью над колесами — «Легкий».

Приняли пассажиров: какого-то мужичка да офеню с лубяным коробом. Последний, как влез, короб открыл и начал торговать — бусами, гребенками, платочками и разными мелочами — колечками, крестиками и книжками. Тут были и «Еруслан Лазаревич», и «Прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего мужа», и «Епанча, татарский наездник». Эти расценивались по три копейки, а две толстые — «Гуак или непреоборимая верность» и «Английский милорд» — подороже. Купил и я «Гуака», карандаш и записную книжку в зеленом сафьяне.

Яркое солнышко, тишина. Только белые плицы лениво хлопают по воде да наш пароход обменивается свистками со встречными.

Пассажиры расположились на скамейках, книжки читают.

Когда мы отваливали от Бабаек, захватив пассажиров,

вдали показался «Велизарий», но было уже поздно. Мы не видели, как он заворачивал к пристани.

Матросы съели воблу. Уж и Кострома близко.

— Полный ход! — раздалась вдруг капитанская команда.

Плицы захлопали чаще.

— «Вылезарий» вылезает! — засмеялся матрос.

Из-за острова показался дым, а затем флаг и труба «Велизария».

— Пущай его! Мы бы уже в Костроме были, да у Собачьего барина задержались.

В Костроме пароход стоял долго. Я отправился смотреть город. На набережной залюбовался ярко освещенной солнцем рекой и заволжской далью и сел на скамейку, где два молодых человека с черными усиками, разговаривавшие по-итальянски, громко восторгались Волгой.

— Ну что, синьоры, и вам наша Волга нравится? — обратился я к ним на французском языке, которым недурно владел благодаря своей мачехе, — в ее семье иначе между собой как по-французски не говорили.

Разговорились. Это были итальянцы Э. Ф. Лукачини и М. О. Ломбардо, впоследствии владельцы известного ювелирного магазина в Москве, в пассаже Солодовникова.

— Что вы здесь делаете? — спросили они меня.

— Да ровно ничего. Сошел с парохода, затем поеду дальше, на низовья, работы искать, — и я рассказал им какую-то полуправду.

— Не хотите ли поработать у нас? Нам нужен простой рабочий на время ярмарки.

Они приехали на летнюю ярмарку в Кострому с мраморными вазами, статуэтками и разными итальянскими безделушками.

— Идите на пароход. Берите ваш багаж.

— Пусть уж багаж остается. Там только хлеб да вобла.

— Вобла?—с удивленным видом переспросил Ломбардо. — Что это такое?

Я объяснил. И в тот же день я уже раскупоривал ящики, помогал раскладывать товар в деревянном балагане на площади, а потом всю ярмарку днем был за приказчика и ночевал в балагане за сторожа.

По окончании ярмарки я уложил товар, свез на пароход и сдал в Нижний.

Нам было жалко расставаться, так мы свыклись и подружились. В конце концов итальянцы пригласили меня с собой на ярмарку в Нижний.

Когда я приехал, Нижегородская ярмарка еще не была открыта, свозились, распаковывались и раскладывались товары под «Главным домом», где Ломбардо и Лукачини сняли магазинчик в пристройке, направо от входа со стороны флага. Напротив нас был магазин швейных машин Блока, того самого, который имел впоследствии в Москве на Мясницкой огромный магазин весов «Фербенкс», велосипедов и пишущих машин.

Сейчас я не помню, чьи магазины были кругом. Только одна вывеска, наискосок от нас, в начале галлереи с галантереей, привлекла мое внимание. На синем фоне золотыми буквами ярко горели слова: «Рошфор и Емельянов». Я знал, что Рошфор — французский революционер, и маленькие тетрадки его журнала «Intransigeant» лежали вместе с номерами «Колокола» в ящике письменного стола ссыльного студента Саши Разнатовского, моего дяди по мачехе, в комнате которого я жил вместе с ним.

Конечно, слово «Рошфор» меня заинтересовало. Оказалось, это были московские купцы с Таганки, торговавшие в Ножовой линии. При них в лавке находился сын Емельянова, беловолосый малый лет семнадцати, с круг-

лым, заплывшим жиром розовым лицом и толстыми губами, которые то-и-дело носили на себе следы какого-нибудь варенья. На ярмарке он сидел почти все время на табуретке перед магазинчиком и обязательно что-нибудь жевал: то халву и разные сласти из греческой лавочки рядом с нами, то пирожное из кондитерской Мишель, при выходе из Главного дома, за которым «Лупетка», — так его прозвали соседние приказчики за толстомордие, — бегал то-и-дело.

Помощи в торговле от него, кажется, не было никакой, и он был взят сюда отцом, чтобы присматривался к делу.

Вместе с отцом оба они в поддевках, в высоких сапогах и в картузах, обедать ходили в харчевню. Да и самые что ни на есть богачи питались обычно на ярмарке не лучше их, преимущественно всухомятку, покупая всякую снедь у разносчиков. Чай пили все из медных чайников; кипяток приносился из трактира. Так жили на ярмарке миллионеры старого типа, дети которых развернулись во-всю через четверть века, чтобы на Всероссийской выставке сверкнуть на весь мир своей чрезмерной роскошью.

А тогда приезжали деды и отцы со своих фабрик на ярмарку в вагонах третьего класса, в буфеты на станциях не ходили, а вынимали из дорожного мешка ситцевый платок, в котором лежали хлеб, соль, яйца, обязательно каленые (дольше не портятся), и тут же в вагоне пили чай из своих чайников.

— Станция Петушки — горячие пирожки! — объявлял по вагонам кондуктор, получавший за рекламу о пирожках от буфетчика угощенье. Иногда ему удавалось соблазнить какого-нибудь таганского или рогожского миллионера, и тот раскошеливался на пятиалтынный и посылал приказчика купить тройку пирожков.

— Да ты, малый, гляди, чтоб горячие были! — напутствовал его «сам».

Копеечничали, жульничали, в еде себе отказывали, скопидомствовали и старались надуть, всякий по своей специ-

альности,—где обмерить, где обвесить, где рабочего штрафом донять, — только бы нажить лишнюю копейку!

Они копили капиталы своим наследникам, а наследники из ярмарочных трактиров не выходили: проводили время с певичками, били зеркала.

Да и сами старики загуливали иногда.

— А где сам? — спросил однажды покупатель у доверенного в амбаре.

— Третий день из Барботенкова трактира не выходит.

— Значит, вожжа под хвост попала?

— Есть грех. Да извольте приказать, без него в лучшем виде вам все отпустим.

Вернулся хозяин дня через три туча-тучей. Доверенный отдал отчет и деньги. Доложили о совершенных им сделках, а «сам», хоть и с похмелья, а сразу увидал, что его надули. Увидал, а молчит. А потом уже не вытерпит:

— Ну ж и Петра Кириллова ты мне заправил, Федотыч!

— Помилуйте, Митрофан Саввич, нешто я смею?

— Ладно уж, помалкивай. Самой, гляди, не проболтайся. Сюды она собирается, боится, как бы я не загулял под «Веселой козой». Так и пишет.

«Веселой козой» называли нижегородский герб: красный олень с закинутыми за спину рогами и как-то весело приподнятой передней ногой. Местные живописцы рисовали оленя по-разному, и везде он вызывал улыбку у зрителей:

— Ве-е-селая коза!

Для купеческого загула здесь существовали по трактирам закабаленные содержательницами хоров певички и были шикарные публичные дома, в которые то-и-дело привозили новых и новых рабынь торговцы живым товаром, а отбросы из этих домов шли на «Самокаты».

«Самокаты» — это гнезда такого разврата, какой едва ли мог существовать когда-нибудь и где-нибудь кроме Нижегородской ярмарки.

И место для них было выбрано самое подходящее, от-

деленное от ярмарки двумя глубокими каналами. Один впадал в Мещерское озеро, к берегу которого примыкали «Самокаты», а другой граничил с банным пустырем. Только двумя мостиками и узкой лавой для пешеходов отделялось оно от азиатского квартала ярмарки, а четвертая его сторона уходила в болото, поросшее тальником и бурьяном в рост человека. Официально это место называлось «Самокатская площадь» и было предназначено для народных гуляний, но редко трезвый решался сунуться в это волчье логово, всегда буйное, пьяное. Зато вся уголовщина, сбегавшаяся отовсюду на ярмарку, чувствовала себя здесь как дома. Попадали туда (на «Самокаты» не шли, не ездили, туда именно попадали) и рабочие-водники со всех соседних пристаней и складов на берегу Волги, где был для них и ночлежный дом. Туда безбоязненно входил всякий, потому что полицейского надзора не существовало во всем этом обширном районе водников, как и на всем Самокатном полуострове.

Площадь с балаганами и каруселями («Самокаты») была окружена рядом каменных и деревянных, почти сплошь одноэтажных строений, предназначенных специально под трактиры и притоны. Все они были на один манер, только одно богаче, другое беднее; одно обширнее, другое меньше. Половину здания занимал трактир, остальную часть — номера. И все они звались «Самокатами». «Самокат» Милютина был самый огромный, окруженный с трех сторон широкой террасой. Двери номеров выходили прямо на нее. Юридически, по закону, трактир от номеров должен был быть отделен, — фактически, за взятки, то и другое сливалось в одно целое. Одно без другого существовать не могло, одно являлось продолжением другого. Номера населены были женщинами, находившимися в кабале у хозяек. Эти белые рабыни — самые несчастные существа в мире.

По обязательному постановлению в гостиницах на видных местах должны были висеть доски с именами съемщиц квартир. Это соблюдалось строго. Приведу для примера одну такую доску:

№ 1 — ЯГОРИХА
№ 2 — ФЕКЛА
№ 3 — САМОВАРИХА
№ 4 — ГЕХМА
№ 5 — АННА
№ 6 — БЕЗНОСАЯ
№ 7 — МАДАМИХА

За каждой Егорихой и Мадамихой числилось несколько рабынь, закабаленных ими. У этих имена были выдуманные, да ни один гость и никто вообще по имени их и не называл никогда...

Вот они-то и помещались в этих номерах, которые назывались «кузницами».

За каждый такой номер платилось от сорока до шестидесяти рублей за ярмарку. Комнатки были разгорожены сквозными перегородками, а кроме того кровать от кровати отделялась короткой ситцевой занавеской.

Время на «Самокатах» проводилось так. С утра женщины слонялись по площади и по трактирам,—растрепанные, изможденные, полупьяные, — зазывали в свои «кузницы» проходящих или просто выпрашивали у них на похмелье. После полудня в балаганах начинались представления. Карусели крутились, заливались гармошки, с шести вечера шел полный разгул. С этого часа «девицы» безвыходно до утра пребывали в своих «кузницах», двери которых отворялись только для того, чтобы выпустить одного гостя и впустить на смену ему другого, уже дожидавшегося очереди за дверью... Террасы были обычно переполнены этими «жаждущими любви». Они сидели, пьяные, на скамейках вдоль стены в ожиданьи своей очереди, дремали, переругивались... Но чуть только где-либо начинался шум, скандал, тотчас же появлялось двое или трое здоровенных вышибал, саженных малых зловещего вида, и после двух-трех затрещин все смолкало, а виновники шума выталкивались взашей

или выносились вышибалами в задние двери и выкидывались в крапиву на пустыри.

И так продолжалось сегодня, завтра и всю ярмарку — до тех пор, пока не забивали «кузниц» досками, после чего до будущего лета замирали «Самокаты» с их трактирами и «мельницами», из которых самой крупной считалась Кузнецовская.

Я бывал на «мельницах», этих будто бы тайных игорных домах, бывал на «Самокате» у Милютина, во всех воровских и разбойничьих притонах. Я надевал старый картуз, высокие сапоги, а для защиты на всякий случай клал в карман кастет, но все обходилось обычно благополучно, кроме одного случая.

«Мельницы» были главным притоном всякой уголовщины, всевозможных воров и разбойников, до беглых каторжников включительно. Только здесь все они чувствовали себя свободными и равноправными, но всегда оказывались жертвами шулеров. Без «мельниц» они были бы как рыба без воды и воровали как будто для того, чтобы проигрывать.

Вор, украв, продавал краденое и, не успев поесть, спешил на «мельницу». Здесь ему было свободно. Обходов в те времена не было, а старый, чуть не единственный местный сыщик Лудра не был опасен. Разбойники его не стеснялись, — свой человек.

В те времена на ярмарке был клуб и две «мельницы». Одна Кузнецовская на «Самокатах», работавшая день и ночь, и денная в Канавине. Ярмарочный клуб, отделение какого-то нижегородского клуба, помещался в Караван-сарае, близ «Самокатов». Направо у входа в клуб покупался у конторщика за пять рублей сезонный билет для посещения клуба, для чего не требовалось никаких записей или рекомендаций, и большинство билетов, конечно, выдавалось на первое попавшееся, выдуманное имя. Беглые каторжники и громилы, предъявляя купленный билет, входили в клуб, где можно было встретить и весьма почтенных москвичей,

любителей потешиться азартной игрой, а также и всех московских клубных, «мельничных» и пароходных шулеров.

В клубе играли преимущественно в макао. При входе у конторщика обменивались кредитные билеты на металлические марки, стоимостью от одного до десяти рублей каждая, которые служили для удобства ставок.

Кроме того перед игроками лежали кучи сотенных и четвертных билетов. Штраф начинался с часа ночи, в двадцать пять копеек, и, прогрессируя, к рассвету доходил до тридцати шести рублей. Обыкновенно, когда к двум часам штраф начинался в два рубля, столы пустели, и оставалось лишь два или три крупных стола с тысячными оборотами. После двух часов публика, покинувшая зал клуба, толпилась в коридоре, сговаривалась, где продолжать игру без штрафа, и в большинстве случаев размещалась по номерам «Караван-сарая», где квартировали крупные московские шулера. Конечно здесь сбыгрывали всех и наверняка на всевозможные лады. Крупные воры и беглые сибиряки предпочитали эту игру в номерах: в клубе играли в макао, которого они не понимали, а здесь метали штосс — единственная игра, которую они признавали. Штосс специально велся на «мельнице» в Канавине, существовавшей при гостинице в отдельном зале около биллиардной. Помещение этой «мельницы» из года в год арендовали московские игроки, и большей частью владельцем ее являлся один из завсегдатаев трущобного «Крыма» на Цветном бульваре в Москве, некто Александр Иванович, известный под прозвищем Крымский. Настоящей фамилии его никто не знал, да и вообще в этом мире до настоящих имен и фамилий никому не было дела. Крымский редко метал банк сам, а всегда держал долю у каждого банкомета, получая, кроме того, десять процентов с каждого снятого банка, так называемых «хозяйских» — плата за помещение и риск.

Во время Нижегородской ярмарки московские «мельницы» и Грачевские притоны пустовали, так как все крупное уезжало сюда, на «Макарьевскую». Оставались только жуч-

ки и портяночники, игравшие в стуколку и банковку, да в «три карты». Переулки, примыкавшие к Грачевке, — например Соболев или, как его называли, Фортепьянный, — тоже пустовали, так как половина обитательниц этих домов со стеклянными выступами-фонарями в бель-этаж отправлялась на ярмарку, где происходил обмен товара подержанного на свежий. Этот рынок белых невольниц происходил и в первоклассном притоне — танцовалке Кузнецова, и в других трущобах «Самокатов». Товар московский менялся на провинциальный, тоже весьма и весьма подержанный, и тот и другой широко распространял заразу, так как не только медицинского, но и вообще никакого надзора не существовало. У Кузнецова вверху в громадном зале помещалась танцовалка, а внизу — каморки «кузницы» и «мельница». Чтобы пройти из танцовалки на мельницу, надо было спуститься на двор, заросший после пожара 60-х годов кустарником и бурьяном, где когда-то на цепи сидел кузнецовский медведь «Костолом». В этом бурьяне обирали пьяных. Рассказывали, что непокорных, неугомонных и неугодных посетителей отводили к Мишке «побороться».

Одного слова «медведь» было достаточно, чтобы нежеланный гость никогда не появлялся в Кузнецовском притоне. «Мельницу» у Кузнецова содержал отставной солдат Селитро. Он дружил с московскими банкометами, грачевскими героями, известными только по своим кличкам: Архивариус, капитан Жевакин, Цапля, Пашка-Шалунок, Ломонос, Раздиришин, Цирульник, Василий Темный — так называемая «Московская рота».

Они пользовались особой привилегией держать банк, а Щучка, Фомушка, Глухой, Шалунок и Байстрюков, впоследствии московский сыщик, вместе с другими карманниками, а также душители-азиаты никогда не получали права метать банк и были вечными данниками банкометов. Проиграется воришка-портяночник и просит банкомета:

— Дай трешку до завтра!

— Обойдешься. Лучше воровать будешь, злая рота!

«Мельничные» банкометы жили на счет понтирующих воров. Для профессионалов высшего полета главными доходами были московские купцы, вроде страстного игрока дисконтера Борисова, который каждую ночь проигрывал тысячи, приходя с карманами, полными далеко вперед обрезанных серий. Он это делал, желая из скаредности хоть выгадать три-четыре процента на обрезанных вперед купонах. На него устраивались облавы, и, пользуясь тем, что вследствие своей копеечнической жадности он экономил заплатить штраф в клубе и шел в номера, обыгрывали его наверняка. Но раз одного купца сибиряка и в самом клубе в две ярмарки обыграли на несколько сот тысяч. Обыгрывали его каждый раз под утро, когда шел высокий штраф и присутствовали только самые крупные игроки — все дольщики банка: «московская рота».

Приходил в клуб иногда под утро и пароходчик Тихомиров, но не надолго. Он вынимал пачку сотенных и, проиграв их, больше уж в карман не лазил, а шел куда-нибудь кутить. Система игры его была такова. Он подходил к столу:

— Сколько в банке?

— Две тысячи.

Вынимал бумажник, полный денег, клал на стол:

— По банку!

Проиграв, молча платил; выиграв — так же молча брал деньги и уходил.

Никогда он не отыгрывался, никогда второй карты не ставил. Конечно, за это банкометы не любили его.

Крупная игра шла на ярмарке. Там было около кого погреть руки разбойному люду. Кроме карманников, вроде Пашки Рябчика, рязанского Щучки, Байстрюкова и Соньки Блювштейн, знаменитой «Соньки Золотой ручки», съезжались сюда шулера и воры не только из Москвы, Одессы и Варшавы, но даже Восток слал своих.

Около полуночи из Кузнецовского притона я раз шел домой в Кунавино, попал в какой-то пустой переулок, где не было ни сторожей ни собак. Ночь была безлунная, пасмурная. Я сел на приступок пустого ларя, чтобы немного отдохнуть, и увидал, что со стороны «Самокатов» шел человек, беззаботно мурлыкавший:

Я хочу вас рассказать, рассказать,
Как стрелочек шел гулять, шел гулять.

А сзади него какими-то кошачьими движениями бесшумно крались две темные фигуры в остроконечных шапках. Точь-в-точь таких людей я полчаса назад видел на «мельнице», где они сверкали кинжалами и черными глазищами из-под высоких остроконечных бараньих шапок.

Я сжал в кармане кастет и ждал, что будет дальше.

А высокий человек продолжал итти, тихо мурлыкая. Вдруг одна из фигур выпрямилась, махнула над своей головой рукой — и почти в тот же миг веселый певец крикнул и рухнул навзничь во весь свой огромный рост. В два прыжка, как кошки на мышь, оба азиата прыгнули и, став на колени, припали к нему. В один миг я прыгнул на них сзади, схватил за шиворот, тряхнул... Шапки свалились с бритых голов. Это облегчило задачу. Они не успели еще сделать ни одного движения, не издали ни одного звука, а я уже молотил их голова об голову, а потом бросил на землю.

Не издав ни звука, они лежали недвижимо, может быть притворяясь, уткнувшись в землю... Для безопасности я еще раз осмотрел их, оба были недвижимы. Человек, которого они хотели убить или ограбить, между тем приподнялся, начал озираться и что-то, весь дрожа, бормотал.

Я успокоил его, рассказал, как было дело, указал на недвижимых грабителей.

Он только тогда пришел в себя, встал и, подняв с земли остроконечную шапку, прохрипел чуть слышно:

— Это персы-душители. Надо бы их добить. Притворяются, мерзавцы, я их знаю.

Он снял со своей шеи петлю — довольно тонкий, длинный волосяной аркан, показал мне и стал меня благодарить за спасение. Аркан он свернул и сунул в карман, потом пощупал недвижимо лежащих персов и сказал:

— Кажется, готовы. А вернее, притворяются. Надо кинжалы взять. А то не равно, того и гляди, сзади пырнут.

Он вынул из ножен кинжал у одного, а я у другого.

— В канал бросим.

Мы шли между запертых ларей. Он опирался на мою руку, не раз принимался говорить, но тотчас хватался за горло и замолкал. Ни одного человека мы не встретили по дороге.

Вот и канал и узенькие лавы через него, прямо к единственному освещенному зданию «Караван-сарая». На середине он остановился, оперся на перила, бросил кинжал в воду. Я сделал то же.

— Ну теперь ничего, отдышался, — прохрипел он. — Я, знаете, с «мельницы» шел. Выиграл тысячи две, но эти самые фансегары и выследили. — И он опять принялся благодарить меня...

Я предложил проводить его домой.

— Я уже почти дома. Здесь, в «Караван-сарае», номер снял.

Из бокового кармана он вынул толстую пачку сотенных, развернул ее и подает мне.

— Возьмите, сколько вам нужно. Пожалуйста, не стесняйтесь. Ведь если бы не вы...

Я отказался наотрез...

У входа в «Караван-сарай» мы расстались по правилам «бывалых людей», т. е. не спросив друг у друга имени-отчества.

Я пошел по набережной к Главному дому, чтобы добраться до своей квартиры в Кунавине, на противополож-

ном конце ярмарки. Там тоже немало притонов было, но одиночных, а «Самокаты» — оптовый разврат.

Шел я и думал.

— А где-то когда-то я его видел.

Потом на «мельнице» Кузнецова мне указали и самого атамана шайки душителей во время такой сцены.

Большая комната, несколько столов, около каждого — два стула, для банкомета и дольщика, помогавшего считать ставки. Вокруг каждого стола те же игроки, что и на Канавинской «мельнице», перекочевавшие сюда на ночь, выстроились сплошной стеной в два-три ряда, при чем задние делали ставки через головы передних, и многие из них, главным образом азиаты, видимо не пользовались доверием. Только и слышны были возгласы банкомета:

— Ты сколько, Ахмет, ставишь?

— Какая твоя карта, Визирь?

— Дывинадцать рублей. Три сбоку.

Восьмерка выиграла, дольщик подвинул к Ахмету двенадцать рублей.

— Зачем дывинадцать? Мы ставили девытнадцать.

На спор выросла огромная фигура с ястребиным носом и черными глазами навыкате. Это и был гроза «мельницы», известный тогда всем атаман шайки душителей — Али-Бер. Сразу, одним жестом прекратил он спор.

С ним никто не вступал в пререкания, его слово было законом. Нечего и говорить, что он действовал всегда в пользу банкомета и получал за это долю.

Много лет ездил на ярмарку со своей шайкой Али-Бер. Полиция его не смела трогать, игорные дома платили ему дань. Слухи про него ходили самые зловещие, но взять его никто не решался. Боялись его грозного вида и кинжала в золотых ножнах, за ручку которого, сверкая глазами, он хватался при всяком удобном случае. Высшее начальство вообще старалось не касаться трущобного мира ярмарки.

Избавил ярмарку от Али-Бера и его шайки пароходчик Тихомиров. Как-то ночью он зашел в Кузнецовские номера, где играли в карты купцы, его приятели. Игра шла очень крупная. Неожиданно появился Али-Бер со своими двумя адъютантами и по обыкновению потребовал доли.

Произошел спор. Али-Бер наполовину вынул кинжал из ножен и угрожающе сверкал глазами.

Тихомиров, как всегда, не совсем трезвый и не игравший, спокойно подошел к нему и, не говоря ни слова, своим тяжелым кулачищем трахнул его по уху. Тот, как сноп, повалился на пол.

Поднялась суматоха. Все вскочили. Адъютанты выбежали было в дверь, но их схватила в коридоре прислуга. В конце концов их всех связали, явилась полиция, которая при обыске нашла в карманах у каждого из них, в том числе и у Али-Бера, пришедшего тем временем в себя, по волосяному аркану.

С тех пор душителей больше не появлялось на ярмарке, а Тихомиров продолжал свои гонки с «Самолетом».

Об этом разудалом купеческом капитане Тихомирове я слышал много лет спустя рассказ от одного из моих товарищей по сцене, провинциального актера К. В. Загорского.

В конце девяностых годов он жил в Москве, в Петровском-Разумовском, со своей семьей, часто бывал у меня, и мы вспоминали театральную старину.

Загорский был прирожденный москвич, друг детства Александра Николаевича Островского, а в дальнейшем товарищ по службе с ним в одном из дореформенных московских судов, не то в «Совестном», не то в «Управе благочиния». Он знавал и кое-кого из тех людей, с которых знаменитый драматург брал характерные черты для своих типов. Как-то раз спросил меня:

— Ты конечно видел «Бесприданницу»?

— И видел и не видел. Раз только из-за кулис кусоч-

ками смотрел. Не помню ни сюжета, ни действующих лиц, кроме одного Паратова, и то лишь потому, что его играл Далматов. В памяти у меня осталось несколько слов, которые Далматов положительно кричал, увлекаясь, но мне думается, что Паратов был моряк, судя по тем словам...

— Ну, ну, говори! — перебил меня Загорский.

«— Шуруй, шуруй. Сало в топку. Окорока в топку!» — вот и все, милый Костя, что я помню о «Бесприданнице».

— Ну вот, теперь ты поймешь, как создавал свои живые типы Александр Николаевич.

Однажды А. Н. Островский повез Загорского прокатиться по Волге. До Ярославля они ехали по железной дороге, а там сели на пароход «Велизарий».

Очень ярко Загорский изображал Тихомирова, богатыря военного вида, с усами, в капитанской с галуном фуражке, более похожего или на корнета Отлетаева или на разбойничьего атамана, но никак не на купца:

— Тихомиров влетел на мостик, отмахнул капитана, стал на его место и принял командование в то время, когда пароход уже повернул на низ.

— До полного! — загремел его голос.

Впереди нас дымил «Самолет», только что отошедший от пристани.

Мы с Александром Николаевичем и с тремя почетными пассажирами сидели на мостике около лоцмана.

— Пару! — крикнул Тихомиров.

Капитан, в поддевке, седобородый, стоявший с ним рядом, вынул из кармана бутылку коньяку, серебряный солидного размера стаканчик, налил полный, поднес командиру.

Тот выпил, крякнул и затем рявкнул в трубу:

— Полный ход!

Пароход содрогался и часто-часто барабанил лопастями колес.

Все ближе и ближе подходили к «Самолету». Уж можно

было прочесть над колесами надпись золотыми буквами «Легкий», уж виден был рисунок на флаге, безумно-весело сверкали серые глаза командира. Он весь был поглощен состязанием. «Легкий» тоже тропотил плицами, прибавляя ходу.

— Шуруй! — ревел наш командир в трубу.

Ни на кого и ни на что не обращал он внимания, кроме своего противника. Только два слова и чередовались: «Шуруй!» и «Пару!»

Да то-и-дело посверкивал серебряный стакан в его руке.

Публика начинала беспокоиться. Да и я тоже.

Островский, у которого тоже веселым спортсменским огнем горели глаза, успокаивал меня:

— Он всегда так! Сейчас перегоним, а там пойдем своим ходом. Ничего! Сейчас перегоним.

Публика толпилась на носу и прилипала к бортам. Кто трусил, кто одобряюще покрикивал... У большинства поблескивал азарт в глазах, как на бегах или скачках или на петушиных боях.

— Сала! — мигнул «сам», и капитан, бывший лоцман, юркнул вниз.

— Сало спалили. Окорока, — говорит, — остались, — вернулся он наверх.

— Вали окорока в топку!

И опять команда в трубу:

— Шуруй! Наддай! Пару!

Через полчаса бешеного хода мы нагнали и стали обходить «Легкого», с мостика которого капитан в белом кителе, окруженный пассажирами и в том числе щелогихами-дамами, грозил нам кулаком и что-то кричал, должно быть ругался.

Тихомиров выхватил у лоцмана бутылку, допил коньяк из горлышка, бросил ее в воду и крикнул в рупор:

— Будьте здоровы! — и опять в трубу: — Шуруй!..

А затем, когда наша корма была уже рядом с носом

самолетского парохода, он, обнажив заднюю часть, показал ее побежденному сопернику.

Старый игрок, бывавший в дни молодости на Волге и в Нижнем, знавший лично и Али-Бера и Тихомирова, рассказал мне о конце последнего:

— Давно это было. Не могу наверное год назвать, но помню, что перед началом турецкой войны 1877 года. В Ярославле мы втроем, своей компанией, сели на «Храброго». Это тогда был самый резвый самолетский пароход на верхнем плесе. Составили было стуколку, да играть так и не пришлось. Почти одновременно с нами отвалил «Велизарий», и пошла гонка. Мы не уступали, и тот не сдавался. Какая уж тут игра! Все высыпали на палубу. Как всегда, начали о заклад биться два табачных фабриканта, Дунаев и Вахрамеев, по тысяче заложили и деньги на руки рыбинскому Журавлеву отдали с тем, чтобы расчет был в Костроме. Дунаев держал за нашего «Храброго», а Вахрамеев — за «Велизария». Весь пароход играл. Кто на деньги, кто на бутылку вина, кто на пару чая.

Я сам поставил красненькую за «Велизария», уж очень он стал наседать, и потому я был уверен в своем выигрыше.

Подошли мы к Николо-Бабайкам. Вот вдали и монастырь показался.

«Велизарий» сильно приблизился. Можно было рассмотреть уже самого Тихомирова. То-и-дело он наклонялся к трубе, командовал в машинную.

И наш тоже то-и-дело кричал в кочегарку:

— Наддай! Наддай!

Все ближе и ближе подходил «Велизарий». Того и гляди первым прибудет к пристани. Публика замерла.

Вдруг... Жутко вспомнить... Страшный взрыв...

И дальше он описал ужасную картину.

Середина парохода вся взлетела на воздух с капитанским мостиком. С носа и кормы народ начал бросаться в воду. Тонули. Мы спустили лодку для спасения утопавших.

С берега явились на помощь рыбацкие лодки. По расписанию, через полчаса наш «Самолет» ушел.

— После, — закончил он свой рассказ, — я узнал, что на монастырском кладбище было похоронено около пятидесяти человек, во главе с виновником общей и своей собственной гибели, командиром «Велизария».

Об Али-Бере, деятельность которого одним ударом пресек Тихомиров, восточные купцы на ярмарке в следующем после гибели капитана году рассказывали, что атаману душителей, бежавшему от русских властей, на Востоке публично отрубили голову. Так в один год покончили свои дни два яркие типа вертепов «Веселой козы».

НОЧЬ НА ЦВЕТНОМ БУЛЬВАРЕ

Дырка в кармане!

Что может быть ничтожнее этого?

А случилось так, что именно эта самая маленькая, незамеченная во-время дырка бросила меня в ряд головоломных приключений.

Был август 1883 года, когда я вернулся после пятимесячного отсутствия в Москву и с той поры навсегда поселился в Москве и весь отдался журнальной работе, писал стихи и мелочи в «Будильнике», «Развлечении», «Осколках», статьи по различным вопросам и отчеты о скачках и бегах — в московских газетах. Постоянно бывая поэтому на ипподроме, я завязал там множество знакомств с людьми всех рангов и положений, между прочим и с представителями самых темных профессий, всегда щегольски одетыми, крупными игроками в тотализатор. Я усиленно поддерживал последние знакомства, благодаря которым получал интересные сведения для газет и проникал иногда в тайные игорные дома, где меня не стеснялись и где я встречал таких личностей, которые были приняты и в так называемом обществе, состояли даже членами различных клубов, а в сущности были или шулера, или аферисты, а то даже и атаманы шаек воров и мошенников. Только в игорных домах при известных знакомствах и можно было раскусить эти позолоченные орехи. Об этом мирке можно написать це-

лую книгу. Но я ограничусь только воспоминаниями об одном завсегдатае бегов, щеголе-блондине с пушистыми усами, имевшем даже собственного рысака, бравшего призы.

В тот день, когда произошла история с дыркой, он подошел ко мне на ипподроме за советом, записывать ли ему свою лошадь на следующий приз, имеет ли она шансы. На подъезде, после окончания бегов, мы случайно еще раз встретились, и он предложил, по случаю дождя, довезти меня в своем экипаже до дома. Я отказывался, говоря, что еду на Самотеку, а это ему не по пути, но он уговорил меня и, отпустив кучера, лихо домчал меня в своем шарабане до Самотеки, где я зашел к моему старому другу, художнику Павлику Яковлеву. Его картин тогда еще не было в Третьяковке.

Дорогой мы все время разговаривали о лошадях, — он меня считал большим знатоком и уважал за это. От Яковлева я вышел около часа ночи и зашлепал в своих высоких сапогах — я тогда их носил всегда — по грязи средней аллеи Цветного бульвара, по привычке сжимая в правом кармане неразлучный кастет — подарок Андреева-Бурлака. Впрочем эта предосторожность была излишней: на бульваре не виднелось ни одной живой души. Ночь была непроглядная — и нигде ни одного фонаря, так как по думскому календарю в те ночи, когда должна светить луна, уличного освещения не полагалось, а эта ночь по календарю считалась лунной. А тут еще вдобавок все вокруг было окутано туманом. Он клубился над кустами, висел на деревьях, казавшихся от этого жуткими серыми призраками, а шагах в десяти перед глазами вырастала все скрывавшая сплошная стена серого мрака.

В такую только ночь можно итти спокойно по этому бульвару, не рискуя быть ограбленным, а то и убитым ночными завсегдатаями обоего пола, выходящими из своих трущоб в Грачевских переулках и Арбузовской крепости, этом громадном бывшем барском доме, расположенном на бульваре, занятом издавна притонами.

Самым страшным был выходящий с Грачевки на Цветной бульвар Малый Колосов переулок, сплошь занятый полтинничными, последнего разбора, публичными домами. Подъезды этих заведений, выходящие на улицу, освещались обязательным красным фонарем, а на глухих дворах ютились самые грязные тайные притоны проституции, где никаких фонарей не полагалось и где окна изнутри завешивались. Характерно, что нигде на таких дворах не держали собак... Здесь находились женщины, совершенно потерявшие образ человеческий, и их «коты», скрывавшиеся от полиции, такие, которым даже рисковано было посещать ночлежные дома Хитровки. Но по ночам «коты» выходили на Цветной бульвар и на Самотеку, где их «марухи» «замарьяживали пьяных, которых или приводили в свои притоны и грабили там или тут же на бульваре раздевали ходившие по пятам за своими дамами «коты». Из последних в притонах вербовались «составителями» громилы для выполнения намеченных краж и других преступлений, и сюда никогда не заглядывала полиция, — а если по требованию высшего начальства, главным образом, прокуратуры, и делались иногда обходы, то «хозяйки» всегда заблаговременно знали об этом и полиция никогда не находила того, кого искала...

Хозяйки этих квартир, большею частью бывшие проститутки, являлись фиктивными содержательницами притонов, а фактическими были их любовники, преимущественно из числа беглых преступников, разыскиваемых полицией, или же разные не попавшиеся еще аферисты и воры.

У некоторых шулеров и «составителей игры» имелись при таких заведениях сокровенные комнаты, «мельницы», тоже самого последнего разбора, предназначенные специально для обыгрывания громил и разбойников, которые только в такие трущобы и являлись для удовлетворения своей жажды азарта совершенно покойно, зная, что здесь не встретишь никого чужого. Агенты шулера, составители игры, пронюхав, что у какого-нибудь громилы после удач-

ной работы появились деньги, сейчас же устраивали за ним охоту. В известный день его приглашали на «мельницу» поиграть в банк,—другой игры на «мельницах» не было,— а к определенному часу там уж собиралась стройно спевшаяся компания шулеров во главе с исполнителем банкометом, умеющим бить наверняка каждую карту,—в результате деньги азартного вора быстро переходили в карманы компании.

Особенно всякие притоны стали процветать в годы реакции, после марта 1881 года, и достигли наибольшего расцвета в 1883 году, ко времени коронации Александра III. Тогда содержательницы притонов, укрывательницы их обитателей, считались самыми благонамеренными в политическом отношении людьми и пользовались особым попустительством полиции, щедро ими оплачиваемой, а охранное отделение не считало их «опасными для государственного строя» и даже покровительствовало им вплоть до того, что содержатели притонов и «мельниц» попадали в народную охрану при царских проездах. Тогда полиция была занята только вылавливанием «неблагонадежных» революционно-настроенных элементов, которых арестовывали и ссылали сотнями.

И блаженствовал трущобный мир на Грачевке и Цветном. Как раз против Малого Колосова переулка стояла полицейская будка, — она уцелела до сих дней, — где жили два городовых с семьями, и это был единственный пункт по надзору за Цветным бульваром, переполненным с сумерек до рассвета преступным миром, но и он был глух и нем.

— Пришьют, а то спалят,—совершенно справедливо рассуждали городовые и в сумерки, погасив огни и заперев двери в будке, отвечали молчанием на то-и-дело доносившиеся с бульвара или из переулка стоны избиваемых или «казенную песню»:

— Караул!.. Грабят!..

Ни звука не слышалось из будки. Только на полицейский свисток выходил будочник, зная, что полиция требует

помощи или какой-нибудь новый пристав, еще не окончательно поддавшийся полицейским традициям, гарунальрашидствует из ревности к службе...

Я шагал в полной тишине среди туманных призраков и вдруг почувствовал какую-то странную боль в левой ноге около щиколотки; боль эта стала в конце концов настолько сильной, что я остановился. Влево от меня маячили среди радужных кругов тумана красные точки фонарей над притонами. Я оглядывался, куда бы присесть, чтоб переобуться, — но нигде не было видно ни одной скамейки, а нога болела нестерпимо.

Тогда я прислонился к дереву, стянул сапог и тотчас открыл причину боли; оказалось, что мой маленький перочинный ножик провалился из кармана и сполз в сапог. Сунув ножик в карман, я стал надевать сапог—и услышал хлюпанье по лужам и тихий разговор. Я притих за деревом. Со стороны Колосова переулка выплыла из тумана тихо двигавшаяся неясная группа из трех обнявшихся человек.

— Заморился, отдохнем... Ни живой собаки нет...

— Эх, нюня дохлая!.. Ну, опускай...

Двое крайних наклонились и бережно опустили на землю среднего.

«Пьяного ведут», — подумал я, ожидая, что будет дальше.

Вглядываясь во мрак, я рассмотрел огромную фигуру человека в поддевке, с большой бородой, а рядом с ним какого-то невысокого, горбатого, который помахивал рукой и отдувался.

— Какой здоровенный, все руки оттянул,— проговорил он.

А «здоровенный» этот лежал плашмя в луже...

— Фокач, бросим его тут... а то в кусты рядом...— предложил горбатый.

— Это у будки-то, дуроплясина! Побегут завтра лягаши по всем хазам...

— Оно в трубу-то вернее — все концы в воду!

— Делать, так делать вглухую. Ну, берись! Теперь на руках можно.

Большой взял лежавшего на земле за голову, маленький за ноги, и понесли как бревно.

Я двинулся тенью за ними по траве, чтобы не было слышно шагов. Дождик переставал. Журчала вода, стекая по канавке вдоль тротуара, и с шумом падала в приемный колодезь подземной Неглинки, закрытый железной решеткой. Вот около нее-то «труженики» остановились и бросили тело на камни.

— Поднимай решеть!

Маленький наклонился, попыхтел и выпрямился:

— Чижало, не могу.

— Эх, рвань дохлая!

И гигант рванул и сдвинул решетку.

«Эге, — сообразил я, — вот что значит «концы в воду».

Я зашевелился в кустах, затопал и гаркнул на весь бульвар.

— Сюда, ребята! Держи их!

И, вынув из кармана полицейский свисток, который я на всякий случай всегда носил, шатаясь по трущобам, дал три резких, продолжительных свистка.

Оба разбойника метнулись сначала вдоль тротуара, а потом пересекли улицу и скрылись в кустах на пустыре...

Я подбежал к лежавшему, ощупал лицо. Борода и усы были бритые... Он оказался высоким, крупным человеком, в ботинках, брюках, жилете, крахмальной рубашке. Я взял его за руку — он шевельнул пальцами, значит был жив.

Тогда я дал еще тройной свисток — и мне сразу откликнулись с двух сторон, а затем послышались торопливые шаги: бежал дворник из соседнего дома, а со стороны бульвара городовой, должно быть из будки... Я спрятался в кусты, чтобы удостовериться, увидят ли они человека у ре-

шетки. Дворник, бежавший вдоль тротуара, наткнулся на него и засвистел. Подбежал городовой... Оба наклонились к лежавшему. Я хотел выйти к ним, но опять почувствовал боль в ноге, опять провалился ножик в дырку.

И это решило дальнейшее: я подумал, что зря рисковать нечего, завтра все узнаю.

Я знал, что эта сторона бульвара принадлежала первому участку Сретенской части, а противоположная, откуда тащили тело — второму участку той же Сретенской.

На Трубной площади я взял извозчика и поехал домой.

К десяти часам утра я был уже под Сретенской каланчой, в кабинете пристава Ларепланда. Я не раз получал от него сведения для газет. У него была одна слабость. Бывший кантонист, он десятки лет прослужил в московской полиции, дошел из городовых до участкового и наконец получил чин коллежского асессора,— а потом был счастлив, когда его называли капитаном, хотя носил погоны гражданского ведомства.

— Капитан, я сейчас получил сведения, что сегодня ночью нашли убитого на Цветном бульваре.

— Во-первых, никакого убитого не было, а подняли пьяного, которого ограбили на Грачевке, перетащили в мой участок и подкинули. Это уж у нас так заведено, — чтобы хлопот меньше было и им и нам. Кому надо в чужом участке доискиваться! А доказать, что перетащили, нельзя. Это первое. А второе: покорнейшая к вам просьба об этом ни слова в газетах не писать. Я даже протокола не составлял и дело прикончил сам. Откуда только вы узнали — диву даюсь. Этого никто кроме поднявших городовых да потерпевшего не знает... А он-то и просил прекратить дело. Нет, уж вы пожалуйста не пишите, а то меня подведете, я об этом и обер-полицмейстеру не доносил.

И Ларепланд рассказал мне, что ночью привезли бес-

чувственно пьяного, чуть не догола раздетого человека, которого подняли на мостовой, в луже.

— Сперва думали, мертвый, положили в часовню, где два трупа опившихся лежали,— а он вдруг зашевелился и заговорил. Сейчас же перетащили его в приемный покой, отходили — а утром я с ним разговаривал. Оказался богатый немец, в конторе Вогау его брат служит. Сейчас же его вызвали, он приехал в карете и увез брата. Немец загулял, попал в притон, девки затащили, а там опоили его «малинкой», обобрали и выбросили на мой участок. Это у нас частенько случается... То из второго участка ко мне подарок, то мои ребята из первого во второй подкинут... Там пристав мой приятель — ну и прекращаем дела. Да и все равно пользы никому не может быть от таких дел — все по-старому останется, одни хлопоты. Хорошо еще, что жив остался — во-время признаки жизни подал. Молодой, красивый немец. Приехал в Москву русскому языку учиться, а потом на место поступил. Попал в притон в нетрезвом виде, заставили его пиво пить вместе с девками: помнил он только, что все пили из стаканов, а ему поднесли в граненой кружке с металлической крышкой, а на крышке птица... ее только он и запомнил...

Я пообещал ничего не писать об этом происшествии и конечно ничего не рассказал приставу о том, что видел ночью,— но тогда же решил заняться исследованием Грачевки, так похожей на Хитровку, Аржановку, Хапиловку и другие трущобы, которые я не раз посещал.

КРУЖКА С ОРЛОМ

В ближайший свободный вечер я отправился на Грачевку. Послушав венгерский хор в трактире «Крым» на Трубной площади, где встретил шулеров — постоянных посетителей скачек, и кое-кого из знакомых, я пошел по грачевским притонам, не официальным, с красными фонарями, а тем, которые ютились в подвалах на темных, грязных дворах и в промозглых «фатерах» «Колосовки» или «Безымянки», как ее еще иногда называли.

К полуночи этот переулок, самый воздух которого был специфически зловонен, гудел своим обычным шумом, среди которого прорывались отдельные звуки то разбитого фортепьяно, то скрипки, то гармоники, когда отворялись двери под красным фонарем, то доносились отдельные слова пьяных песен, а то отчаянно-хриплое «караул, грабят!..» отдавалось где-нибудь неожиданно звонким эхом.

В одном из глухих, темных дворов свет из окон небольшого домика почти не проникал наружу, а по двору двигались неясные тени, слышалось перешептывание, а затем вдруг разносился громкий женский визг или отчаянная ругань...

Передо мной была одна из тех трущоб, куда заманивали пьяных, обирали дочиста, после чего выбрасывали на пустыри. Около входов в такие притоны обычно стояли женщины, изображавшие «живые картины» и зазывавшие слу-

чайно забредших сюда пьяных, обещая за пятачок предоставить все радости жизни, вплоть до папироски за ту же цену...

Когда я пересек двор и подошел ко входу в подвал, расположенному в глубине двора, то услыхал приглашение с обращением на французском языке:

— Зайдите к нам, у нас весело.

От стены отделилась высокая женщина и за рукав потащила меня вниз по лестнице.

— У нас и водка и пиво есть. Идем!

— Идем!

Отворилась дверь.

Перед глазами замерцал красноватый свет среди пара и копоти. Донесся какой-то хаос звуков. Я стал осматриваться. Под черневшими сводами огромной комнаты стояли три стола. На стене близ двери коптила жестяная лампочка. и черная струйка копоти поднималась от нее под своды, к черному от сажи потолку. На двух столах стояли такие же лампочки, пустые бутылки, валялись объедки хлеба, огурцов, селедки. На крайнем к окну столе шла ожесточенная игра в банк. Метал плотный русак богатырского сложения, с окладистой, степенной бородой, в поддевке с засученными рукавами; в громадных руках его почти исчезала колода карт. Кругом теснились оборванные, бледные, с пылающими взорами понтеры.

— Семитка око...

— Имею... пятак. На пè.

— Угол от пятака...— слышалось между играющими.

Дальше, сквозь отворенную дверь виднелась другая такая же комната. Там тоже стоял в глубине стол, но уже с двумя свечками, и тоже шла игра в карты.

Передо мной, за столом без лампы, сидел небритый, бледный мужчина в форменной фуражке, обнявшись с пьяной бабой, которая выводила фальцетом:

И чай пил-ла и б-булки-и ела,
Паз-за-была, и с кем си-и-дела...

Испитой юноша, на вид лет семнадцати, в лакированных сапогах, в венгерке и в новом картузе на затылке, стуча дном водочного стакана по столу, убедительно доказывал что-то маленькому потрепанному человечку:

— Слушай, а ты...

— И что слушай? Что слушай? Работали вместе, и слам пополам...

— Оно пополам и есть... Ты затырка, я по ширмохе, тебе лопашник, а мне бака... В лопашнике две красных...

— Бака-то полста ходит, небось анкер...

— Провалиться, за четвертную ушла...

— Заливаешь!

— Пра-слово. Чтоб сдохнуть!

— Где же они?

— Прожил. Вот коньки лаковые, вот чепчик... Ни финаги в кармане...

— Глянь-ка, Оська, какой стрюк заполз!

Оська посмотрел на меня, и я услышал, как он прошептал:

— Не лягаш ли?

— Тебе после того везде лягавые чудятся.

— Да вот сейчас узнаем... — он обратился к приведшей меня «даме»:

— Па-алковни-ца, что, кредитного свово, что ли, привела?

— Не-ет. Просто стрюк шатаный...

Спутница моя обернула к говорившему свое густо наштукатуренное лицо, подмигнула большими, черными, глубоко запавшими глазами и крикнула:

— Барин выпить хочет. Садитесь, садитесь!

— Садись — гость будешь, вина купишь — хозяин будешь! — крикнул банкомет, тасовавший карты в этот момент.

Я сел рядом с Оськой. Игра продолжалась.

— Что ж, барин, ставь вина, что ли, угощай свою полковницу, — проговорил юноша в венгерке.

— Изволь!

— Да уж расшибись на рупь-целковый, всех угощай. Вон и барон мучится с похмелья... Шематон несчастный.

Мужчина в форменной фуражке бросил свою пьяную бабу, которая, оставшись в одиночестве, сейчас же заснула, лихо подлетел ко мне и скороговоркой выпалил:

— Барон Дорфгаузен... Отто Карлович... Прошу любить и жаловать, — и он шаркнул ножкой в опорках.

— Вы барон? — спросил я.

— Даю слово. Барон и губернский секретарь... В Лифляндии родился, в Берлине обучался, в Москве с кругу спился и вдребезги проигрался.

— Проигрались?

— Вчистую. От последней жилетки рукава продал, — ехидно сострил Оська.

Барон окинул его свысока презрительным взглядом.

— Да, вот этой рыжей лопате последнее пальто с котиковым воротником спустил...

— Котика-то на воротник в кошаткиной деревне поймали, — не унимался Оська.

— Одолжите двугривенный. Пойду отыгрываться... до первой встречи...

— Извольте!

И через минуту послышался его властный голос:

— Куш под картой. Имею... Имею...

— Полкуша на пе, очки по копейке вперед...

— Никаких тут кушей. Ставь деньги прямо... Перед барином хвалишься, — прикрикнул на барона банкомет.

— Верно, господин, он настоящий барон, — зашептал мне Оська. — Вот теперь он свидетельства на бедность да разные фальшивые удостоверения строчит... А как печати на копченом стекле салит! Ежели желаете вид на жительство — прямо к нему. И такция недорогая... Сейчас ежели плакат, окромя бланка, так полтора рубля, вечность — три.

— Вечность?

— Да, дворянский паспорт или указ об отставке... С чинами, с орденами пропишет...

— Барон... Полковница... — в раздумьи проговорил я.

— И полковница настоящая, а не то, что какая-нибудь подполковница... Она с самим живет... Заведение на ее имя.

Тут полковница перебила его и, пересыпая свою речь безграмотными французскими фразами, начала рассказывать, как ее выдали, подростком еще, за старика, гарнизонного полковника, как она с соседом помещиком убежала за границу, как тот ее в Париже бросил, как впоследствии она вернулась домой, да вот тут в Безымянке и очутилась.

— Ну ты, стерва, будет языком трепать, тащи пива!.. — крикнул ей, не оглядываясь, банкомет.

— Несу, оголтелый, чего орешь, каторга!

— Унглюк! Не везет... А? Каково? Нет, вы послушайте... Ставлю на шестерку куш — дана На пе. Имею полкуша на пе, руки вперед... Взял. Отгибаюсь — бита. Тем же кушем иду — бита... Ставлю насмарку — бита. Под ряд, под ряд...

— Проигрались, значит?

— Вдрызг. А ведь только последнюю бы дали, и я — крез. Всю талию изучил — и вдруг бита... Одолжите еще немного... до первой встречи... Тот же курс!

Даю двугривенный.

— Олл-райт. Это по-барски... До первой встречи...

Полковница налила пива в четыре стакана, а для меня в хрустальную кружку с мельхиоровой крышкой, на которой красовался орел.

Барон оторвался на минуту от карт и, подняв стакан, молодецки возгласил:

— За здоровье дам! Ур-ра!

Разбуженная криком баба, спутница барона, — проснулась и начала неистово ругаться и выть

— А вы что же не пьете? Кушайте же... — обратилась ко мне полковница.

— Не пью пива... — коротко ответил я.

— Да нет же... Нельзя ведь,— пыталась она уговорить меня. В это время около банкомета завязался спор.

— Нет... позвольте... Сочтите абцуги... девятка налево... — горячился барон.

— Ну, ну! Не шабарши с гривенником... говорю — бита, и баста!

Игра кончена.

И банкомет, сунув карты и деньги в карман и убавив огонь в лампе, встал.

— Шабаш, до завтра! Выкидывайтесь все отсель...

— Проваливайте! — добавила полковница, и понтеры, привыкшие, видимо, повиноваться, мгновенно поднялись и молча ушли, остался только один барон, все еще ерепенившийся, но субъект с рыжей бородой выкинул ему двугривенный:

— Подавись и выкидывайся... Надоел ты мне... Куш под картой, очки вперед... Ты да вот этот косой барин... Двое только вас и есть,— за двумя-то я услежу... Мне Петра Кириллова не заправишь... Теперь шабаш — ставьте семпелями... На грош амуниции, на рубль амбиции... — проговорил, обращаясь к барону, банкомет и закончил: — Уходи, не проедайся! — взял его за плечи, повернул и вмиг выставил за дверь, которую тотчас запер на крюк. Даже выругаться барон не успел... Остались Оська, карманник в венгерке, спящая пьяная баба, полковница и банкомет.

Выпроводив барона, банкомет подошел к нам.

Из соседней комнаты доносились восклицания картежников — специальные термины. Там должно быть шла игра серьезная...

Полковница вновь наполнила пивом стаканы, а мне придвинула мою нетронутую кружку со словами:

— Кушайте же, не обижайте нас.

— Да ведь не один же я? Вот и молодой человек не пьет...

— Шалунок-то? Ему еще нельзя, недавно ордена получил,— сказал Оська.

— А тебя спрашивают, сволочь эдакая... Вот звездану бутылкой!

— Ему доктор запретил...— успокоила полковница.

— Пашка, не ори! А вот вы, барин, чего не пьете?.. У нас так не полагается... Извольте пить!—и бородач потянулся ко мне чокаться.

Я отказался.

— Считаю это за оскорбление. Вы брезгуете нами! Это у нас не полагается. Пейте! Ну? Не доводи до греха, пей!

— Нет!

— А, нет? Оська, лей ему в глотку!..

Он вскочил со стула и совершенно неожиданно схватил меня одной рукой за лоб, а другой за подбородок, чтобы раскрыть мне рот. Оська стоял с кружкой, готовый влить пиво насильно мне в рот.

Это был решительный момент. Я успел выхватить из кармана кастет и прямым ударом ткнул в зубы нападавшего. Он с воем грохнулся на пол.

— Что еще там!—раздался позади меня голос, и из двери выскочил человек в черном сюртуке, а следом за ним двое остановились на пороге, заглядывая к нам. Одного, огромного щеголя, я узнал, а человек в сюртуке в тот же миг повернулся ко мне, и мы оба замерли от удивления.

— Это вы? — остановился он в изумлении, поднимая руки, и одним взмахом отшиб в сторону вскочившего с пола и бросившегося на меня банкомета, борода которого была вся красная от крови... Тот снова упал... Передо мной, сконфуженный и пораженный, стоял беговой спортсмен, который вез меня в своем шарабане.

Все остальные, словно окаменев, молча глядели на нас.

Он выхватил из рук еще стоявшего у стола Оськи кружку с пивом и выплеснул пиво на пол.

— Убери,—показал он на пустую кружку дрожавшей от страха полковнице.

— Владимир Алексеевич, как вы сюда попали? Пройдемте ко мне в комнату...— обратился он наконец ко мне.

— Ну вас к чорту! Я домой...

И, надвинув шапку, я шагнул к двери. На полу стонал, лежа на брюхе, банкомет.

— Нет, нет, я вас проведу...

«Спортсмен» выскочил за мной, поддерживая под локоть, помог мне подняться по избитым камням лестницы и все время бормотал извинения:

— Я... я не виноват. Видите, как... ну вот...

Я упорно молчал. В голове мелькало: «концы в воду», Ларепланд с «малинкой», немец, кружка с птицей...

«Спортсмен» продолжал рассыпаться передо мной и на темном дворе, между прочим, он сказал:

— Все-таки я вас спас от Самсона... Он ведь мог вас изуродовать...

— Ну спас-то я себя сам, потому что «малинки» не выпил.

— Откуда вы знаете? — встрепенулся он и вдруг спохватился и другим тоном добавил: — Какой такой «малинки»?

— А которую ты выплеснул из кружки... Мало ли что я знаю...

— Вы... вы...— у него стучали зубы, он не мог произнести ни слова.

— Все знаю!

— Вижу-с... Вот потому-то я и хотел, чтобы вы ко мне в комнату зашли... Там отдельный выход... Приятели собрались... В картишки поиграть... Ведь я здесь не живу...

— Видел... Голиафа, маркера, узнал.

— Да... он под рукой сидел... метал Кречинский... Там еще Цапля... Потом Ватошник, потом...

— Ватошник Тимошка? Да ведь он сыщик!

— Кому сыщик,— а нам дружок... Простите великодушно...

— Помни — я все знаю, но и виду не подам никогда. Будто ничего не было. Прощай!—крикнул я ему уже из калитки.

А все дырка в кармане.

Я действительно исполнил свое обещание молчать и даже сейчас не называю ни имени этого «спортсмена», ни его клички, весьма громкой, под которой его знала играющая темная Москва. Разве кто-нибудь из уцелевших в Москве старых посетителей притонов прочтет это и сразу узнает того, кто в Безымянке держал на имя своей «марухи» публичный дом, а при нем «мельницу» для воров, в которой, как я узнал после уже, в ту ночь «разыгрывали» знаменитого громилу Зеленщика, только что перед этим убежавшего из Пересыльной тюрьмы через стену и вскоре ограбившего на несколько тысяч контору знакомого купца. Вот эти-то деньги в ту ночь у него и выигрывали в присутствии сыщика Ватошника. Кречинский метал ему «кругляка».

При встречах «спортсмен» старался мне не показываться на глаза, но раз поймал меня одного на беговой аллее и дрожащим голосом зашептал:

— Обещали-с, Владимир Алексеевич... а вот... в газете-то что написали... Хорошо, что никто внимания не обратил, прошло пока... А ведь как ясно—Феньку все знают за полковницу, а барона вы по имени-отчеству целиком назвали, только фамилию другую поставили.. А его ведь вся полиция знает, он даже живет прописанный... Главное вот — барон...

— Ну, успокойся, больше не буду.

Действительно, я напечатал рассказ «В глухую», где подробно описал виденный мною притон, игру в карты, отравленного «малинкой» гостя, которого потащили сбросить в подземную клоаку, приняв за мертвого. Только Колосов переулок назвал я «Безымянкой». Обстановку же я описал во всех подробностях и как живых — действующих лиц.

Барон Дорфгаузен, Отто Карлович... и это действительно было его настоящее имя...

Рассказ, напечатанный в мало распространенной газете, не повредил трущобникам, в 1887 году я целиком его перепечатал в первой моей книге рассказов — «Трущобные люди», — но этой книги никто не читал, так как она была сожжена цензурой и рассказ «В глухую» так и не увидал света. А эпиграф к рассказу был таков:

> При очистке Неглинского канала находили кости, похожие на человеческие...

УЧЕНИК РАСПЛЮЕВА

В московском шулерском мирке, мало посещавшем театры вследствие того, что все всегда были заняты картами, пользовалась вниманием только одна пьеса «Свадьба Кречинского»—уж очень она их сердцу была близка. Среди них существовали свой Кречинский и свой Расплюев.

— Вчера метал банк Кречинский!

И все знали, что разговор идет про старого игрока, щеголя Попова.

— Расплюев арапа запустил.... Пенснэ у него разбили.

И все знали, что арапа запустил Николай Назарович «Расплюев». Но никому не известно было, кто он, откуда, как его настоящая фамилия. Знал это, может быть, один только Василий Морозович Темный, его неразлучный друг, с которым они вместе играли, не раз вместе попадались и вместе шествовали по этапу, для удостоверения личности, в Тамбов и оттуда тотчас же преблагополучно возвращались в Москву.

Известно, что Василий Морозович Темный на самом деле был мещанин Василий Морозов. Вместе в шулерской компании они работали по игорным домам в Москве, а в ярмарках, в вагонах и на пароходах—только вдвоем. Уж очень удобная была пара: Расплюев, всегда чисто выбритый, с подстриженными усами, с причесанной по моде головой, в неизменном золотом пенснэ, держался барином, а

Темный, в долгополом сюртуке, в щегольских смазных сапогах, в картузе набекрень, с бородой лопатой — выглядел богатым захолустным купцом или кулаком-землевладельцем. Вообще это была фигура лихая, атаманская. Оба друга являлись шулерами высокого класса. Говорили, что их связывала какая-то тайна. Василий Морозыч еще в своей среде назывался по имени персонажа из той же «Свадьбы Кречинского» — купцом Щебневым. Купец Щебнев — это тот самый, который в пьесе повторяет все время одну фразу: «Прикажите получить-с».

Это была любимая фраза и Темного, когда он метал банк,— без денег он никогда не метал и, убив карту, тотчас же требовал:

— Прикажите получить.

Вот за это его и прозвали Щебневым.

На моей памяти—в поезде между Козловым и Москвой они обыграли московского богача Сергея Губонина на двенадцать тысяч рублей, и Губонин, рассказывая об этом в клубе друзьям, доказывавшим, что попал на шулеров, уверял:

— Помилуйте, быть не может. И по одежде купец, и фамилия хорошо знакомая, купеческая фамилия, Щебнев, с ним барин в золотом пенснэ ехал; тоже проиграл и он.

Уж разуверился тогда, когда ему показали афишу «Свадьбы Кречинского», где напечатано было в числе действующих лиц «Купец Щебнев».

Кречинским звали Попова, но вслух в глаза ему не говорили, боялись:

— Он за Кречинского ребра переломал Ломоносову.

А Ломоносов первым кулачным бойцом считался. Попова и боялись и уважали шулера, как великого мастера своего дела, всегда скромного и державшего свое слово. Одевался он, даже являясь в грязные игорные притоны, всегда шикарно: черная пара от лучшего портного,— его поставщиком был исключительно Сиже,— стройный, высокого роста, и никогда, сознавая свою огромную физическую силу,

не возвышавший голоса. Стоило молча поднять ему свою большую выхоленную руку (он даже спал в перчатке), и всякий шум прекращался за игорным столом при самой каторжной компании. Приемы Кречинского были приемами барина, именно в том духе, как играл Киселевский у Корша, они были усвоены им до мелочей, только носил он не бакенбарды, обязательные у Кречинского на всех сценах, а красиво подстриженные, тонкие, выхоленные усы.

Он, разгадывавший первым каждый новый прием шулерства и придумавший некоторые приемы, сам не любил бывать на народе, не играл ни в клубах, ни на свадьбах и балах в Москве, а уезжал для игры в отдаленные от центра города, где его не знали, главным образом в Сибирь, да по старой памяти иногда играл на пароходах. В Москве его специальностью было метать банк на «мельницах» только среди шулеров и представителей преступного мира — и обыгрывать их только ловкостью рук и новизной приема... И никогда никто его не поймал. В Москве он занимал небольшую уютную квартиру, где жил со своей старухой-матерью и с гражданской женой, красивой эстонкой. Узнав, что какие-нибудь московские шулера кого-нибудь обыграли на большую сумму, он устраивал у себя карточный вечер, где, кроме шулеров самого высокого полета, никого не было — и обыгрывал их вчистую каким-нибудь вновь изобретенным специально для этого случая приемом. Впоследствии этот прием расшифровывался, входил в обиход, и никто из обыгранных Поповым шулеров на него не сердился, а, узнав секрет, шулера сами применяли его в игре.

— На него понтировать все равно, что с бритвы мед лизать! — говаривали самые опытные игроки, но, чуть бывало позовет на вечеринку, как тараканы на хлеб лезли.

Красиво метал Попов! Изящно сорвав обложку с колоды, а колода уже подменена незримо у всех на глазах, начинал тасовать, прорезая насквозь,—а карты все ложились в том же самом порядке, как они были заранее сложены,— и давал кому-нибудь срезать. Но резка ни к чему не приво-

дила — ловкое движение руки — и карты вновь лежали, как он заранее рассчитал.

Игра была готова. Ставили деньги — или кому разрешено — записывали мелом. Орлиным, именно орлиным глазом он окидывал стол—и сразу видел все,—на какие карты крупные ставки, на какие мельче, верны ли записи.

— Что у вас там написано? Пять или три? Три? Ну так хвостик прочеркните направо... А мне показалось отсюда— пять...

— А этот угол на пе или на перепе?

— На пе...

— У вас мелок подкололся, две полоски дает.... выходит на перепе...

— Заметал!

Как машина, правильно и размеренно ложились карты направо и налево: после каждого «абцуга» Попов оглядывал стол и тихо тянул верхнюю карту. Вот показались за тузом червонные «четыре сбоку»,— а одна «четыре сбоку» — девятка — уже была дана, значит по теории вероятности десятка, может быть лежащая под тузом — дана. Самая крупная ставка, пучок сотенных, поставлена была на десятку... Попов снял туза, но под ним оказалась не десятка, а валет... Десятка следующая — бита. Все догадывались конечно, что передернуто,— но никто не видел этого.

Таков был московский Кречинский 70-х, 80-х и 90-х годов.

С этим-то самым Поповым я познакомился в 1874 году в Ярославле, а через год после этого на Нижегородской ярмарке спас его от смерти, вырвав из рук «душителей».

В первой половине 80-х годов я встретил его в Москве, в биллиардной ресторана «Эрмитаж», где изредка выпадала крупная игра, но по большей части публики бывало мало, потому что туда пускали далеко не всех. Проходя мимо, я случайно зашел в биллиардную посмотреть игру. Один

биллиард стоял пустой, а на другом в соседней комнате, за спущенными драпри, играл с маркером высокий щеголь — и играл прекрасно. Я сел на диван в тот момент, когда щеголь, наклоняясь над биллиардом, бегло взглянул на меня и блестяще закончил партию, положив щегольским ударом два последних шара.

— Нет, Николай Васильевич, с вами «так на так» играть я не могу... Десять очков вперед разве... А то немыслимо.

— Ну хорошо, Алексей, пока довольно. Вот тебе за партию, сдачи на него,—щеголь бросил на биллиард пять рублей.—Шары оставь, биллиард за мной, и ступай наверх, скажи Мариусу, чтобы прислал моего сотерна и старого бри.

Я смотрел на него, и мне вспомнилась ночь... Пустая площадь... Две крадущиеся за высоким человеком фигуры... Волосяная петля «душителей»...

И вот он опять был передо мной... Вымыв после игры руки, он подошел ко мне.

— Простите, что я подошел к вам. Но если б не вы тогда, так этого не было бы. Узнали? Я—Попов, Николай Васильевич, помните?

— Сразу вас узнал, Николай Васильевич. Очень рад.

— Ну, вот насчет рад, знаете... Может быть и рады, потому что не знаете... всего не знаете... Но я вам должен сказать все... Не откажите выпить со мной стакан вина... Прекрасное, куплено во Франции еще самим Оливье... Ведь Оливье тоже игрок был когда-то.

В это время вошел Алексей, и половой в белой рубашке принес вино и сыр.

— Еще стакан, Алексей! Сам принеси.

— Пожалуйте,—пригласил Попов меня к столу.

— С удовольствием!

Мы пили действительно прекрасный сотерн.

Попов и до этого не раз встречал меня в Москве, но

стеснялся подходить, а я его не узнавал, забыл. Он читал почти все, что я писал, и удивился, что это писал я, тот самый, который тогда в Нижнем ходил в высоких сапогах и картузе. Он сознался, что остался таким же игроком-профессионалом, каким был тогда, только еще более усовершенствовался.

— Если вы познакомитесь с игроками, или вот хоть спросите Алексея, вам многое про меня расскажут—и все, что они будут говорить—верно. Скажут, шулер—верьте... Вот почему я и не подхожу к вам и не лезу со своим знакомством. Да я нигде и не бываю кроме «мельниц»... Вот и сегодня у Васьки Павловского на Большой Дмитровке банк мечу, а вчера был в притоне у Вьюна на Грачевке... И нигде больше не бываю. Иногда вот прихожу сюда с Алексеем поиграть на биллиарде... Но на деньги я никогда на биллиарде не играю... Вообще у меня система не заводить знакомств без нужды и меньше показываться на людях. А то придешь в биллиардную, и вдруг кругом шопот: «Кречинский пришел». Ну, поняли вы теперь, кто я?..

Мы пили вино, он все изливался, благодарил меня за спасение жизни и взял с меня слово при встречах не узнавать его и не подходить к нему:

— Разрешите только мне иногда подходить к вам,— я знаю, когда можно.

В конце концов мы сыграли партию на биллиарде, и я, хорошо игравший, остался на пятидесяти очках, когда он закончил партию дублетом.

— Хорошо играете,—сказал он мне, и мы разошлись.

В течение следующих десяти лет мы встречались раза три. Однажды по моей усиленной просьбе он сказал мне пароль-пропуск на шикарную «мельницу» Цапли-Орловского, где я видел знаменитую метку Попова, конечно и виду не подав, что мы знакомы,—а потом лет десять не видал его и забыл даже о его существовании в суете своей работы и из-за частых отъездов из Москвы.

Как-то раз в апреле 1912 года я присел на скамейку Нарышкинского сквера и, просмотрев газету, собирался уже встать, когда рядом со мной опустился на скамейку высокий старик с густой седой бородой, в потрепанном пальто и в вылинявшей фетровой шляпе.

— Владимир Алексеевич, вот я сам теперь подошел к вам... Узнали? Попов. Позвольте с вами посидеть?

— Пожалуйста, рад вас видеть, Николай Васильевич.

— Вот теперь и я вижу по глазам вашим, что будто вы рады меня видеть... Жалеете, вижу, меня... Ну, каков я?..

— Постарели, Николай Васильевич.

— Да, теперь я опять Николай Васильевич Попов и похож больше уж не на Кречинского, а на Расплюева после трепки докучаевской.

— Ничего, это дело поправимое,—успокоил я его.

Вздохнул старик и указал своей, все еще попрежнему мягкой и белой рукой на противоположную сторону бульвара:

— Видите это домик? Видите герб наверху?

— Вижу.

— Этот домик когда-то принадлежал тому, кто придумал фамилию Кречинский, Сухово-Кобылину. Это все старые игроки знают. Ведь у нас, игроков, самая любимая пьеса «Свадьба Кречинского»,—ну и об авторе ее не раз мне приходилось слышать... и дом этот мне указывали. Много разговоров было... Старик Шелье лично знал Сухово-Кобылина, вместе с ним после убийства содержался под шарами в Тверской части. Шелье тоже хоть и шулер, а фамилии барской был, его тоже не в клоповник, а на гауптвахту посадили поэтому, в отдельную камеру.

День был теплый. Солнышко так и жарило.

— Хорошо на солнышке. Одна радость осталась—солнышко. Я каждый день хожу сюда кости погреть.

Разговорились дальше.

— Лет десять, как я бедствую... В комнатушке приютился...

Я насилу уговорил старика зайти ко мне пообедать. Чуть не силой привел... После обеда я упросил его, и упросил с большим трудом, взять денег на пальто и обувь и записал его адрес—угол Садовой и Каретного ряда...

Через два или три дня я зашел к нему. Он жил в сыром флигеле во дворе, комнатка была мрачная, облезлая. Сам Попов, чистенько одетый, подстриженный, в хорошем пальто, пил с калачом чай из кружки и жестяного чайника.

Я увел его к себе обедать. Моим домашним он понравился, я выдал его за моего старого друга юности.

Недели через две мы пригласили его провести у нас лето на даче. За лето старик поправился, порозовел и все радовался... Всему радовался, а больше всего солнышку. Все мои домашние его полюбили. Обедал он вместе с нами, а жил отдельно, в комнатке во флигельке.

— В первый раз в жизни счастливым стал,—никто-то здесь меня не знает. А хорошо то, что хорошо забыто...

В Москву Попов не поехал, остался зимовать во флигельке, а потом среди зимы перебрался в соседнюю деревню в избу, да и застрял там. Летом он пользовался нашим столом, а зимой я посылал ему провиант из города.

Жили мы с ним по-хорошему. Дома при всех разговор у нас был один, а когда мы с ним вдвоем гуляли в лесу или я заходил в его комнатку—разговоры бывали другие: старину вспоминали...

— Лет десять я до этого рая здешнего бедствовал. Сперва умерла мать, до глубокой старости добрая была, а потом моя Эммочка, тридцать лет мы с ней невенчанные жили, у нее муж в Ревеле остался. А потом без них все опротивело, и жизнь—и даже что?!—игра опротивела, игра, которую я больше всего любил...

На столе у Николая Васильевича всегда лежали две-три

колоды карт, и во время разговоров он не выпускал их из рук.

— Все опротивело... Игра опротивела. Опустился я...

У него была какая-то своя профессиональная шулерская гордость, и она выявлялась иногда во время разговоров. Он воодушевлялся, красивые черные глаза его начинали сверкать, а в руках карты и прыгали, и вертелись, и трещали, и как ветер шумели...

— Разве теперь игроки? Портяночники! Шантрапа!.. Прежде было искусство, а теперь? Ишь какое искусство— прометать готовую накладку!.. А подсунуть ее в десять колод железки всякий фармазонщик или подкидчик сумеет... Ни ума, ни искусства тут не нужно. Любой лапотник прометет. А прежде требовались и метка, и складка, и тасовка сквозная,—он распустил карты веером, перетасовал их, и все карты оказались лежащими в прежнем, но обратном порядке. — А сколько разных авантажей — все их знать надо было. А банки — «кругляк», «девятиабцужник»,— последний—когда девять карт из тринадцати бьются, а «кругляк» — когда бьются все под ряд...

И он, держа колоду в руках, показывал мне поразительные вещи, делая неуловимые вольты перед моими глазами и передергивая так, что невозможно было заметить. А тасовал он так, что карты насквозь проходили и ложились в том же порядке, как первоначально.

— Вот это — искусство!..

Я смотрел на чудеса его рук—и не мог понять, каким образом все это у него выходило.

— Ведь я, кроме карт, всю жизнь ничем не занимался... Если мне выпустить из рук карты на неделю, так шабаш... Свадьбу Кречинского помните? Уж на что был искусник Михаил Васильевич Кречинский, а занялся не своим делом, на фармазонство перешел, булавку сменил, как последний подкидчик,— ну и пропал! За чужое дело не берись!

— Да ведь это на сцене,—возразил я.

— Нет, в жизни! Фамилия только другая, а он самый

у нас в Ярославле жил. За графа Красинского считался, уважением пользовался, а потом оказалось, что это вовсе не граф, а просто варшавский аферист и шулер, шляхтич Крысинский. Одну буковку в паспорте переправил, оказалось...

— И вы знали его в Ярославле?

— Нет, я тогда еще мальчуганом был, а вот мой учитель по игре, Елисей Антонович, вместе с ним работал... С него-то Сухово-Кобылин Расплюева как с живого списал, да и Кречинского списал с графа, тоже с натуры. Он был выслан после истории с булавкой из Петербурга в Ярославль, здесь сошелся с Елисеем Антоновичем—фамилии его не помню, кажется, из духовного звания он был или из чиновников... Все это я узнал через много лет. Жили они в Ярославле, а на добычу вдвоем отправлялись—разъезжали по ярмаркам, по городам и усадьбам, помещиков обыгрывали. Потом уж разузнали, что граф был липовый и что в графы его, как в «Свадьбе Кречинского» говорится, «пиковый король жаловал».

Я по целым часам иногда слушал Попова, увлекшегося воспоминаниями, вынимал книжку, начинал записывать.

— Не надо, не пишите!—просил он.—Лучше сам я этим займусь. Зимой делать-то нечего, вот я и опишу всю свою жизнь с самого детства, все, что видел, всех, с кем дело имел. А потом вы выберете оттуда, что надо,—и печатайте. У меня родни никакой нет, некому будет обижаться на меня. Печатайте, как есть, с полной фамилией... Может, еще найдется и такой человек, который меня добрым словом вспомнит,—ведь всякое в жизни моей бывало.

А я все-таки записал и запомнил много из рассказов Николая Васильевича. Так продолжалось три лета. Я содержал старика,—ну как же было его бросить!

Потом началась война, затем революция; старик все время жил в деревне и время от времени присылал мне пакеты с рукописями на листках клетчатых блокнотов, которые я оставил ему. Наконец в 1919 году сам привез мне

последнюю рукопись, под названием «Исповедь шулера», а через год умер от сыпняка. Начиналась рукопись так: «У каждого человека есть своя книга жизни. Есть такая и у меня своя книжонка, которая просится, как исповедь, на свободу. Есть в начале ее грязные пятна, которые я не в силах отчистить,— моя горделивость страдала — я долго ее не мог побороть, но я все-таки ее поборол»...

Из записок Попова и из его рассказов во время наших бесед на даче выяснилось, как он стал игроком. Отец Николая Васильевича, кожевник, умер, когда мальчику было лет десять. У них был где-то на окраине Ярославля небольшой домишко с садиком и огородом, с воротами, выходившими на немощенную улицу, а на воротах висела деревянная дощечка с нарисованным на ней ведром. У соседнего домика, такого же маленького, но с большим яблоневым и ягодным садом, на дощечке был изображен ухват; по другую сторону улицы на домике столяра висела дощечка с изображением швабры.

Означало это, что на каждый пожар домовладельцы должны были являться с назначенными им вещами: мать Попова с ведром, столяр со шваброй.

«Мать моя была тогда еще совсем молодая и, рано овдовев, так ни за кого второй раз замуж и не вышла, до самой своей смерти не оставляла меня, и скончалась старушка в Москве, у меня на руках. Одиноко мы в Ярославле жили на крохи, оставленные отцом, да на доход с огорода. Знакомых мать не заводила, только соседи Кудимыч с женой, пожилые уже, но крепкие, здоровые старики и бывали у нас. Детей они не имели, а квартировал у них некий Плакида, державший биллиардную в трактире «Русский пир», против Николо-Мокринских казарм. Об этом я узнал уже гораздо позднее, а в первые годы сиротства я не понимал, что такая и за штука—биллиард.

Фамилия Кудимыча была Анкудинов, как и стояло под изображением ухвата, — ну и звали его все Кудимычем. А то еще за глаза Коровой звали. Он ездил

зимой по ярмаркам, а летом по Волге, чем-то торговал, как говорили, но в нашем городе он ничего не делал, сидел дома, лишь иногда в гости ходил. Дома всегда Кудимыч ходил в опорках и ситцевой рубахе, а отправляясь в гости, надевал бархатный жилет, долгополый, мещанский сюртук и сапоги с голенищами гармоникой, при чем так, бывало, начищал их ваксой, что они как зеркало блестели. Щеголь был, хоть и старик... Меня и он и жена его любили, давали гостинцы, ягоды из своего сада. В нашем саду ягод не было, только яблоки.

А постарше я стал—Кудимыч или его жена, а то Плакида начали посылать меня в лавку или в ренсковой погреб за вином и пивом, когда гости к ним приходили. Чаще других бывал у них Елисей Антонович. Он одевался барином, носил часы, брюки навыпуск, голова у него была седая, а усы он красил, из себя был высокий, толстый, одутловатый, важный такой на вид».

Рассказывая мне о нем, Попов добавлял, что и сейчас еще ходит по Москве живой его портрет, один субъект, известный всем как либерал и благотворитель, а на самом деле шулер и дисконтер, разоривший много народу.

«До четырнадцати лет я учился в уездном училище, потом ученье бросил.

У Кудимыча в саду стояла беседка с окнами, и часто там сидел он с Елисеем Антоновичем, в карты вдвоем играли. Иногда к ним присоединялся и Плакида. Меня посылали за вином и закусками. Бывало, напишет Елисей Антонович в ренсковой погреб или в рыбную лавку записку и пошлет меня—а в лавке его уважали, отпускали самого лучшего балыка, икры... затем они выпивали, играли, а то карты подбирали.

Как-то раз, мне уж лет пятнадцать было, зашел я в беседку, а Кудимыч начал меня гнать домой,—ступай, не твое здесь дело! Но Антоныч остановил меня и принялся

разные фокусы показывать,—стал учить меня самого их делать.

— Гляди, Кудимыч, ловкий малый выйдет из него, руки-то какие!

И вот мои большие белые руки решили мою участь.

Когда Антоныча не было, меня учил Кудимыч, а потом Плакида позвал в свою биллиардную, где кроме биллиарда были разные игры — и бикса, и судьба, и фортунка,— а рядом в комнатке день и ночь в карты на деньги резались. Елисей Антонович заставлял меня проделывать всевозможные штуки с картами, учил все новым и новым приемам, очень меня хвалил и Кудимычу каждый раз говорил:

— Из малого выйдет толк. Руки на редкость, и не дурак.

В биллиардной у Плакиды я скоро стал своим человеком и в шестнадцать лет умел играть наверняка, быстро подбирать карты, делать вольты, всевозможные коробки, фальшивые тасовки и все, что требовалось для игрока, т. е. шулера-исполнителя. И успехом своим я обязан был главным образом Елисею Антоновичу, он куда выше был и Плакиды и Кудимыча».

Дальше в записках Попова шло описание всех его шулерских похождений, а также игорных домов, игры на пароходах, главных шулеров. Но этому необходимо посвятить особый очерк, а теперь я передам только гибель Расплюева. Расплюевым его, правда, никто из игроков не называл, хотя многие и знали, что Расплюев именно с него списан был Сухово-Кобылиным.

Попов узнал о «Свадьбе Кречинского», о том, кто именно были Кречинский и Расплюев, через много лет после того, как, восемнадцатилетний, он ездил с шулерами летом на пароходах обыгрывать пассажиров.

— Вернувшись с Кудимычем из такой поездки,— рассказывал он мне,— мы узнали от Плакиды, что Елисея Антоновича актер Егор Быстров, тогда известный игрок на биллиарде, поймал в мошенничестве и так избил, что его привезли домой замертво. Плакида сам присутствовал при этом. Дело было в биллиардной трактира «Столбы». Играли по крупной Быстров и знаменитый маркер Яшка Доминик, державший свой биллиард в трактире Лысенкова на Сенной и ходивший играть в трактир «Столбы», так как там бывала крупная игра. Яшка получил прозвание Доминика потому, что служил маркером в петербургском ресторане Доминика. Он считался там первым игроком и был выслан в Ярославль за мошенничество. Яшка был дружен с Елисеем Антоновичем, а «графа» знал еще с Петербурга. Это была одна шайка.

Быстров, не уступавший в игре на биллиарде Яшке, играл с ним. Народу было много. Со стороны держались крупные пари—игроки за Яшку, публика—было много актеров—за своего, Быстрова. Крупную сумму держал за Яшку Антоныч, его дольщик. Он сидел за столиком и закусывал. Около его прибора лежал кусок мела, которым игроки мелили кий.

Партия шла к концу,—все зависело от последнего шара, и он так висел над лузой—только тронь—упадет. Удар был Быстрова. Он подошел к столу, и Елисей Антонович подал ему мел. Тот взял, намелил кий, прицелился—и вдруг «скиксовал»: кий скользнул по шару, и шар покатился в сторону. В публике произошло движение. Яшка моментально схватил кий и тотчас положил шар, продолжавший висеть над лузой. Выиграв, следовательно, партию, он тотчас же вынул из лузы выигранные им деньги. Не опомнившийся сразу Быстров сверкнул глазами, что-то сообразил, понюхал конец кия.

— Салом смазано! — крикнул он в негодовании, бросился к столу, а Елисей Антонович в это время салфеткой мел накрывал.

Это заметили окружающие. Быстров взял в руку, понюхал мел и показал всем:

— Нюхайте, мел насален!

Затем он изо всей силы ударил Антоныча кулаком по лицу, а подбежавшего Яшку — кием по голове. Актеры повскакивали и вслед за Быстровым начали лупить Антоныча, Яшку и всех, кто вздумал за них заступаться.

Это было осенью, а зимой «Расплюев» умер, Яшка Доминик ослеп.

— Так окончил мой «учитель» свое земное странствие...—завершил свое повествование Николай Васильевич.

— Это для меня не новость, Николай Васильевич! Забыли вы еще самый конец, как трагик Волгин выкинул вашего учителя в окно.

Поразился старик, руками всплеснул:

— Верно! Верно! Только мне уж об этом не Яшка, а другие рассказывали... Когда началась драка, кто-то открыл окно и закричал «караул», а приятель Быстрова, Волгин, который до той поры пьяный спал, сидя за столиком, проснулся и, узнав, что обидели Быстрова, бросился в свалку. Ему указали на толстяка с седой головой, который схватился в рукопашную с Быстровым.

— Прочь! — взревел он.

Все в испуге замерли перед громадной фигурой с поднятыми кулачищами.

— Этот?—ткнул Волгин пальцем в Антоныча и, услыхав подтверждение, схватил его поперек тела, выкинул, как щенка, за окно...

Окончательно поражен был Николай Васильевич, когда я ему сказал, что это же самое я слышал от моего товарища по сцене Докучаева.

— Как? Того, что в «Свадьбе Кречинского» поминают?.. Я слыхал о нем, но ни в одном городе мне с ним не удалось встретиться. Некоторые наши игроки видали его, а мне не пришлось.

Я потешил старика, рассказав, что знал о Докучаеве.

ДОКУЧАЕВСКАЯ ТРЕПКА

В 1875 году я служил начинающим актером у антрепренера Гр. И. Григорьева в Тамбове. После сезона актеры уехали на обычный великопостный актерский съезд в Москву, а я и несколько актеров, уже обеспеченных на летний сезон у Григорьева, остались в Тамбове. На второй неделе поста, по дороге из Саратова в Москву, остановился и прожил неделю у своего друга Григорьева известный в те времена провинциальный актер М. П. Докучаев. Это был уже пожилой, высокий, стройный мужчина, славившийся своей физической силой и буйным нравом.

Помощник режиссера, сын Григорьева Вася, мой друг, с которым я жил в одной комнате, сказал мне как-то:

— Это вот тот самый Докучаев... Помнишь, в «Свадьбе Кречинского» Расплюев говорит: «После докучаевской трепки не жить...»

А «Свадьба Кречинского» в этот сезон прошла у нас семь раз и вся у меня на памяти была. Я пришел в восторг:

— Можно будет его спросить подробности?

— Не любит он... В какой час попадешь... Надо стороной подойти.

В это время неожиданно вдруг вошел Докучаев и сел на стул.

— Вася, завтра в Москву еду,—Синельников телеграммой вызывает.

Он поднял голову, обвел взглядом помещение.

— Это та самая комната?

— Да.

— Какие подлецы!.. А жаль Гришу, зря погиб...

Я уже знал отчасти историю этой комнаты. В ней был застрелен наповал ворвавшимся неожиданно гусаром актер Кулебякин. Накануне он публично избил офицеров, в том числе и этого гусара. И вот рано утром на другой день тот уложил актера из пистолета пулей в сердце.

Кулебякин был помещик, потом поступил на сцену. Огромного роста, необычайной силы, и «голос, шуму вод подобный». В своих любимых ролях—Прокопий Ляпунов, боярин Басенок, Кузьма Рощин — он конкурировал с Н. К. Рыбаковым.

Докучаев курил. Вася молчал. Тут я и решился спросить:

— Михаил Павлович... кого здесь убили?

— Не знаешь? Ты—не знаешь?

Он встал и загремел:

— «Его», властителя, героя, полубога... Друга моего Гришу Кулебякина убили здесь... «Человек он был». «Орел, не вам чета»... Ты видишь меня? Хорош?.. Подковки гну. А перед ним я был «мальчишка и щенок»... Кулачище—во! Вот Сухово-Кобылин всю правду, как было, написал... Только фамилию изменил — а похожа: Ку-ле-бя-кин, а у него Се-ми-ля-дов... А мою фамилию целиком поставил: «После докучаевской трепки не жить». После истории в Курске «не жить».

Он разошелся, глаза заблестели, голос гремел по комнате...

— Потом—будто бы в двух местах это происходило. А случилось это в одном месте, под Курском, на Коренной ярмарке... Туда ремонтеры съезжались, помещики из разных губерний, даже из Москвы коннозаводчики бывали... Ну, конечно, и шулерам добыча, игры тысячные шли... А мы в то лето с Гришей в Курске служили—и поехали про-

катиться на ярмарку... Я еще совсем молодым был. Деньги у меня оказались, только что бенефис взял. Приехали — знакомых тьма... Закрутили... Захотелось и в картишки сразиться. Узнали, что вот уже с неделю здесь ответный банк мечет какой-то польский граф Красинский. Встретились мы тут на улице со знакомым ремонтером — он как раз играть к графу шел и взялся нас провести, так как пускали только знакомых. Пришли мы в большую мазанку среди вишневого сада. Человек десять штатских и офицеров понтировали, кто сидя, кто стоя... Пол был усыпан картами, на столе груды денег. Метал банк франт с шелковистыми баками и усиками стрелкой, кольца на руках у него так и сверкали. Справа толстяк с усами, характерно-помещичьего вида, следил за ставками, рассчитывался, а слева от банкомета боров этакий, вроде Собакевича в мундире — оказалось после, исправник — тоже помогал рассчитываться и тоже был поляк по виду...

Кулебякин сел за стол и закурил, — он не любил карт. Я же сразу зарвался — начал ставить крупно, хотя карта за картой под ряд бились...

— Пойдем, шулера! — прошептал мне Гриша.

Я только отмахнулся от него и, разгорячившись, продолжал ставить.

И опять все карты — ставка была крупная — оказались биты.

Подали новую колоду.

И вот вдруг Гриша вскочил, схватил через стол одной рукой руку банкомета, а другой — руку его помощника и поднял кверху: у каждого в руке оказалось по колоде карт — не успели перемениться.

— Шулера! Колоды меняют! — воскликнул он.

На момент все замерло, а Гриша схватил одной рукой за горло толстяка и кулачищем начал ему тыкать в лицо и лупить по чем попало...

Граф закричал:

— Цо... Цо... Разбой здесь! — и поймал Гришу за руку.

Тогда вмешался я и так ударил графа, что сбил его с ног. Кругом поднялся невероятный гвалт, стол опрокинулся, а Гриша, прижав поднявшегося на ноги графа к стене, продолжал избивать его...

Тогда исправник бросился на меня... Я его—в морду, он прыгнул к окну и стал вылезать наружу. Началась общая свалка, стол перевернули вверх ногами... Кто вместе с Гришей графа бил, кто деньги с полу собирал... Исправник, пролезая в окно, высунул голову и плечи да и застрял—а обратно я его не пускал, схватил за ноги и пихал вперед... Так забил, что ни взад, ни вперед... С большим трудом потом, уже когда все начало успокаиваться, его вытащили.

Когда я приехал зимой в Москву, все уже знали об этом случае... Весь Малый театр говорил о нем... У Печкина в трактире меня актеры чествовали. Сам Михаил Семенович Щепкин просил рассказать, как все было... А узнали потому, что на ярмарке были москвичи коннозаводчики и спортсмены, они-то и рассказали всю историю. Оказалось, что Красинский вовсе не граф был, а шулер и мошенник...

Прошло много лет. Наконец в конце ли восьмидесятых, в начале ли девяностых годов я опять встретился в Москве с Докучаевым. Он сильно бедствовал. У него не было даже квартиры, и ночевал он по знакомым. Я пригласил его погостить у меня несколько дней на даче в Быкове.

Ему было около восьмидесяти лет, но он еще бодрился, пел надтреснутым голосом арии, читал монологи и опять повторил уже слышанный мной в Тамбове рассказ о докучаевской трепке. Но говорил он уже без того пафоса, как в первый раз, без цитат из пьес,— быть может там, в Тамбове, воодушевляла его комната, где убит был его друг Кулебякин... Рассказ его был тот же самый, что и тогда, с теми же подробностями до мелочей, может быть с еще большими. Я смотрел на эту руину былого богатыря и забияки

и рядом с ним видел другую, возбужденную, могучую фигуру, слышал тот незабвенный, огненный монолог. Самое интересное, что я услышал от устаревшего Докучаева, был его отзыв о Самойлове:

— Это был лучший, единственный Кречинский... Глядя на Василия Васильевича, на его грим, фигуру, слушая его польский акцент, я видел в нем живого графа, когда вскочил тот из-за стола, угрожающе поднял руку с колодой карт... Да, это был великий артист. Придумать польский акцент, угадать жесты и грим... И как рад был Василий Васильевич, когда я зашел к нему в уборную и рассказал обо всем этом ему! Он меня обнял, расцеловал и пригласил на завтра к себе обедать, но я запутался, не попал, а потом уехал в провинцию и больше уже не видал его, да и ни одного хорошего Кречинского не видал больше на сцене,—в сравнении с Самойловым каждый из них был «мальчишка и щенок».

Наконец судьба Докучаева устроилась — и совершенно случайно.

На Тверской я встретил как-то раз Федю Горева и позвал его к себе на дачу.

— Не могу, завтра вечером в Питер еду,—ответил он.

— А у меня Докучаев гостит!

— Миша? Михаил Павлович? Да ну? Ведь благодаря ему только я теперь и разговариваю с тобою. Если бы не он, и Горева бы не было, а торговал бы в Сумах Хведор Васильев ситцем.

Я сообщил ему, что старик бедствует.

— Так привози его ко мне завтра утром. Я живу в «Ливадии». Знаешь?

Обрадовался старик, узнав о Гореве:

— Я его придумал!.. Играли мы однажды в Сумах. Вошел я раз в лавку—и обомлел: за прилавком стоит юноша

неописуемой красоты,—в анфас Парис, в профиль Юлий Цезарь. И вот представь себе этого Юлия Цезаря, отмеривающего железным аршином ситец какой-то бабе и в чем-то убеждающего ее. Голос звучный, красивый. Ну, я ему сейчас же дал контрамарку, велел за кулисы притти. Оказалось на счастье, что театр ему дело знакомое. Он уже в любительских спектаклях играл и грезил сценой. Познакомился с его отцом,—красавец старик, отставной солдат из кантонистов, родом с Волыни.... Ну, дальше—больше. Сыграл у меня Федя Васильев несколько ролей, вижу—талантище!.. Увез я его с собой в Харьков, определил к Дюкову—и вот родился Горев.

На следующий день я отвез старика к Гореву, и больше мы не виделись. Горев в тот же день уехал с ним в Питер и определил в приют для престарелых артистов. Я слыхал от бывавших там, что старик блаженствует и веселит весь приют—рассказывает про старину, поет арии из оперетки и опер, песни, с балалайкой не расстается. Артисты иногда собирались в большой столовой и устраивали концерт—кто во что горазд,—кто на рояли играл, кто пел, кто стихи читал. Расшевеливали и его.

— Ну-ка, Миша, тряхни стариной!

И Докучаев запевал своим высоким, но уже надтреснутым голосом. Дойдя до своей любимой арии Торопки, на высокой ноте обязательно петуха запускал и замолкал сконфуженно.

Тут обычно кто-нибудь ему кричал:

— Топорище!

И он вновь оживлялся — тряхнув балалайкой, топнув ногой, начинал звонко, с приплясом, выводить:

А и кости болят,
Все суставы говорят...

Пел и подплясывал... А когда заканчивал, раздавались аплодисменты. Но дамы делали вид, что не понимают, и

только старуха Мурковская, бывшая гран-дам, лаская неразлучную с ней Моську, недовольно ворчала:

— И все врет, и все врет. Хвастунишка!

Придя в общежитие откуда-то навеселе, Миша появился в столовой с балалайкой и сразу запел:

Близко города Славянска...

И, как всегда, на верхней ноте голос оборвался, и по обыкновению кто-то крикнул:

— Топорище!

И он опять-таки, как всегда, лихо закончил последний куплет под аплодисменты и... грохнулся на пол.

Старое сердце не выдержало молодого порыва.

Когда я рассказал это Николаю Васильевичу Попову, он промолвил:

— Весело умер! Даже завидно...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ЛЮДИ С ВОЛЧЬИМ ВИДОМ

Июль. Я отдыхал пока на Волге, по дороге в Астраханские степи—описывать по поручению редакции вспыхнувшую чуму. Публика на пароходе была довольно серая. За весь рейс от Ярославля до Нижнего меня заинтересовал только один человек, или, лучше сказать, бывший человек.

Пароход остановился у Кинешмы. Погрузился. Сняли сходни. Стали отваливать. Пока происходила погрузка, мое внимание невольно обратил на себя молодой человек, жилистый, оборванный, босой, с котомкой, на которой болтался жестяной чайник, за плечами. Он как-то особенно спокойно стоял на краю пристани, как будто вовсе не интересуясь суетой и движением вокруг. У него было исхудавшее лицо, темное от загара, и распухшая с обеих сторон шея: какие-то два громадных желвака от ушей чуть ли не до плеч.

Едва убрали сходни и пароход двинулся, как он с тем же совершенно спокойным видом сделал прыжок и очутился на пароходе, а через минуту все так же невозмутимо спокойно сидел на нижней палубе на скамейке, рядом со старухой-богомолкой.

Я подсел к ним и открыл табакерку.

— Угостите!

Бродяжка взял понюшку и чихнул, потом залюбовался табакеркой.

— С чернетью. Внутри позолота ладная... А шалниры-то какие! У меня дед серебряник, я знаю эти вещи.

— А что у тебя с шеей?

— Давно это у меня. Застудил. Так и осталось. Да оно мне не мешает.

— Откуда путь держишь?

— Из Ростова-Ярославского.

— А далеко?

— Пока не ссадят. А надо мне куда-то в Астраханскую,— забыл город, сейчас посмотрю.

Он вынул из тряпки печатную бумагу, посмотрел и сказал:

— В Енотаевск. Уж придумали городок, язык переломишь. Енотаевск... Чтоб ему ни дна ни покрышки...

Дальше — больше, разговорились. Оказался знакомый тип: человек с волчьим видом.

— Да уж документик сподобили,—иди, пока не умрешь,— на сутки поработать нигде нельзя остановиться,— или воруй, грабь, или умирай, если христа-ради не подадут. Вот он настоящий волчьий паспорт, взгляните!

И он подал мне печатный документ с печатью.

Это был вид, но не вид на жительство, а вид на право итти без остановок. Законный вид на бродяжничество, волчий паспорт, с которым всякий имеет право гнать обладателя его из-под своей крыши, из селения, из города. Я целиком списал этот вид и привожу дословно:

ПРОХОДНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО,

данное из Ростовско-Полицейского Управления, Ярославской губернии, административно высланному из Петербурга петербургскому мещанину Алексею Григорьевичу Петрову на свободный проход до г. Енотаевска, Астраханской губернии, в поверстный срок с тем, чтобы он с этим свидетельством нигде не проживал и не останавливался, кроме ночлегов, встретившихся на пути, и по прибытии в г. Енотаевск явился в тамошнее полицейское управление и предъявил сие проходное свидетельство. Июля 30 дня 1882 г.

Затем стояла подпись, которую, как и всегда подписи на документах, разобрать было невозможно. Я возвратил этот вид на бродяжничество моему собеседнику и спросил:

— Почему именно тебя направили в Енотаевск?

— Да вот в Енотаевск,—чтоб ему ни дна, ни покрышки!

— Кому ему? Енотаевску?

— Нет, чиновнику!

— Какому?

— Да в Ростове. Вывели нас из каталажки, выстроили всех в канцелярии. А он вышел да и давай назначать кого куда. Одного в Бердичев, другого в Вологду, третьего в Майкоп, четвертого в Мариуполь. Потом не знал больше, что ли, названий городов, потребовал календарь, посмотрел в него, потом взглянул на меня да и скомандовал:

— В Енотаевск его пиши! — да и остальных разослал по календарю в города с названиями почуднее... Шутник!

— За что же тебя из Петербурга турнули?

— Из-за дворника. Дворнику как-то на пару пива не дал, он и обещал попомнить. Ну, и попомнил. На заводе у нас беспорядки были, а я тоже в толпе находился, хоть и не шумел, а вот попал. Когда стали арестовывать, дворник и попомнил, как обещался, указал на меня. На восемь лет меня и выслали... четыре года хожу, а четыре еще осталось.

— Один благодетель, чиновник из Харьковской губернии, меня в Колу махнул. И натерпелся же я на дороге через Архангельск да по тундрам. Хорошо еще, коты на ноги дали... Из Колы опять этапом в Городище, Пензенской губернии, саданули... А оттуда—в Ростов... Пошел я туда через Казань, по Волге, через Нижний, в казанской больнице лежал...

В Нижнем я стоял на палубе парохода и смотрел на выходивших пассажиров, у которых капитан отбирал билеты.

Мой бродяжка подошел ко мне и пожаловался, что после Нижнего зайцем больше ехать ему будет нельзя, контроль станет строгий. И он сделал движение, собираясь уйти. Я вынул пять рублей и сунул ему в руку:

— Купи билет и поезжай спокойно!

Он зажал в руке деньги и смутился. Что-то хотел сказать и, видимо, не мог. Затем он запустил руку к себе в карман, вынул мою табакерку, сунул ее в карман моей тужурки, где я ее обыкновенно носил, и без оглядки бросился бежать сквозь контроль, оттолкнув матроса, который чуть не упал... И сразу исчез где-то...

А я понять не мог, как это он в одну минуту так ловко выудил из кармана мою табакерку!

С историей моей табакерки и этим бродяжкой связана моя последняя в жизни, любимая мной с юных дней степных скитаний охота на волка в угон, давно-давно забытая. Охота эта—калмыцкая и казачья, потому что для нее нужны — волк, степь и лошадь. Да еще особая нагайка, «бирюшник». От обыкновенной казацкой нагайки она отличалась тем, что была длиннее наполовину и втрое толще, хотя сплетена также из тонких сыромятных ремней, и иногда в конец ее вплетали кусок свинца. Но это было совершенно лишнее— и без свинца удар такой нагайки страшен, а с коня на скаку она разбивала волку череп, перешибала хребет.

Десятки лет эта моя старая приятельница по охоте хранится у меня. Это подарок донского коневода, за старостью бросившего свою любимую охоту. На рукоятке ее широкое серебряное кольцо с выгравированным тавром его завода— сердце, пронзенное стрелой.

И вот—это было в последние годы прошлого столетия— поздней осенью я очутился на зимовках сначала в задонских степях, а потом проехал в ногайские, зеленчукские степи, на хутор к молоканину овцеводу и коннозаводчику, для табунов которого я купил двух жеребцов-производителей, скакавших в Москве. Друзья мы с ним были давнишние.

Там-то случайно и пришлось мне поохотиться, еще раз повторяю, последний раз в моей жизни, в угон на волка, и удалось захлестать такого серого, матерого, каких я никогда

и не видывал. Степной волк вообще широкий, могучий, а шерсть у него короткая и густая.

Осмотрев табуны, производителей и жеребят от них, я собирался уж возвращаться в Москву и с рассветом просил приготовить лошадей.

Накануне, по обычаю молоканского семейства, мы, человек десять, сели за ужин часов в восемь вечера, ели, после разных закусок, лапшу из индейки, жареных кур, жареную баранину, соленые бараньи языки, пшенную кашу с молоком и на закуску по полной тарелке взвара, т. е. компота из свежих персиков, груш, яблок и вишен...

Вина, кроме меня, никто не пил, а передо мною выставили целую батарею настоек и наливок: сливянки, вишневки, терновки, смородиновки.

Ночевал я в большой, светлой комнате с двумя кроватями. Высота кровати была в рост человека, потому что на ней распухли в три ряда пуховики и лежало по шести подушек в головах. Забираться на такую постель приходилось со специальной скамеечки, а как бывало ляжешь, как охватят тело пуховики — так и заснешь сразу, да на том боку, на который лег, и проснешься — спишь как убитый...

На следующий день еще не рассветало, а мы уже пили чай, опять вся семья вместе, за тем же огромным столом с ведерным самоваром. Чай пили с печеньями, с закусками, холодными и горячими: тут была и гора белых горячих пышек, и блюдо бараньих языков, и нога холодной баранины, и дымившиеся блюда нарезанных большими кусками легкого, сердца и печонки — и опять передо мною стояла та же батарея наливок...

А хозяйка уже уложила мне всяких съестных припасов и бутылок в корзину на дорогу... так, думаю, пятерым до Москвы должно хватить...

И вдруг во время чаепития вбежал чабан с жалобой, что у него ночью бирюк барана упер и жрет его теперь

в бурьянах, за балкой около старой базы,—а база эта находилась километрах в двух от хутора.

Я обратился к старику:

— Поседлайте Наяду..

Это была прекрасная вороная полукровка, дочь знаменитого Дир-Боя, на которой я ездил по табунам молоканина.

— И я поеду,— сказал старший сын Федя.

Я вынул мою нагайку. Старик полюбовался, взглянул на тавро и сразу узнал тавро Ивана Николаевича... Подкопаевское!

Через каких-нибудь пять минут мы тихо подъезжали к базе, окруженной бурьяном. Сзади бежавший чабан указал нам место:

— Там он лежит...

Действительно бурьяны зашевелились полосой, и в полосе этой замелькала спина убегавшего волка...

Утро было тихое, чудное, холодное... Солнце золотило головы Эльбруса вдали...

Волк вырвался из бурьянов и мчался по голой степи. Мы неслись за ним, намеренно держась от него шагах в двухстах. Степь на бесконечное пространство простиралась гладкая, без кустика, даже без бурьянов. Все было на виду... Волк мчался, не оглядываясь. Он инстинктом чувствовал, когда мы прибавляли ходу—и усиливал свой бег... Мы сдерживали коней, а он все удирал, но наконец оглянулся и пошел потише... Мы опять пускали коней порезвее, и он мчался... Так играли мы с ним долго... Он шел к горам—они находились верстах в ста от нас,—шел по прямой линии, как стрела...

Он был уже шагах в трехстах от нас—и мы скакали широким наметом.

Вот мы все больше и больше приближались к нему. Нам уже ясно был виден его высунутый язык, так как голову он держал повернутой вбок. Тогда опять мы немного сдержали коней...

— У меня лошадь захромала, поезжайте дальше один!— крикнул мой спутник и слез с коня.

Я оглянулся. Он вел лошадь в поводу—она припадала на правую ногу. Он что-то кричал мне и махал рукой. Но мне было не до него. Я продолжал скакать.

Через минуту я все забыл, кроме волка, и мчался за ним не оглядываясь. Настали горячие минуты... Я то догонял его, то давал передышку лошади—а он мчался все так же по прямой линии. Волк знал, что свернуть в сторону—значит сократить расстояние в пользу врага...

Но он ошибался: у лошади, у этой чудной Наяды, бравшей барьерные призы на скачках и не боявшейся ни выстрелов, ни зверя, запас сил был огромный... Притом она отдыхала то-и-дело на переменном аллюре—а он бежал без передышки—и стал выдыхаться.

Впереди затемнелись две узкие и длинные полосы бурьянов, росших по неглубокой балке, влево ближе от меня переходящей в степь, а вправо тянувшейся далеко по направлению к горам... Во время дождей туда гоняли табуны... Я пустил лошадь карьером... Волк был уже шагах в ста от меня. Он торопился к балке,—по всей вероятности он знал это убежище. Мне же эта балка была давно знакома. Лошадь подошла еще ближе к нему, нас разделяло шагов пятьдесят... Вот волк уже в бурьянах, близ оврага—только бы ему нырнуть туда, и он спасен...

На самом краю балки он на момент остановился, воззрился на меня—я круто повернул лошадь и сделал несколько скачков вправо вдоль оврага... Волк нырнул в бурьян оврага и скрылся...

Я знал привычки зверя давным-давно, еще с юных моих шатаний и здесь и в задонских табунных степях. И я не ошибся в своих предположениях.

Повернув кругом лошадь, я поскакал по краю балки влево и увидел: серый с вытянутым языком лежал по средине балки и, заметив меня,—все это измерялось секундами—вскочил, зашатался и тяжело побежал к выходу в степь...

Я свистел, гикал, при чем держал его от себя на расстоянии шагов тридцати,—я видел, что он выдохся и сейчас упадет...

Это было не в моих расчетах: к лежачему или сидячему волку подходить нельзя, пока у него сила есть,—бросится и зарежет коня... Я дал ему выбраться на простор степи и только тогда послал Наяду и поскакал с ним рядом, не убавляя резвости. Наконец волк зарьял, окончательно выдохся. В два прыжка я догнал его и ударил по черепу плетью. Он ткнулся носом в землю... Я быстро повернул Наяду, чтоб быть сзади головы волка, чтоб снова его догонять — но он уже исходил слюной и беспомощно скреб лапами по траве... Я рискнул — еще раз ударил его по голове и отскочил в сторону... Он продолжал лежать на брюхе, вытянув задние ноги и судорожно шевеля передними, на которых лежала голова с вытянутым языком... Я отъехал в сторону и кружил шагом, давая передышку уставшей Наяде... Посматривал издали на волка и наслаждался понюшками табаку...

Волк не шевелился. Я объехал кругом него, а затем, приблизившись, еще раз ударил его по голове, а потом поперек хребта, около почек. Серый был готов...

Я слез с Наяды, начал разминать ноги...

А кругом была глухая степь. Ни табунов, ни отары овец, ни птички. Только вдали-вдали шевелилась точка — это тушканчик сидел, сложив молитвенно лапки, но и тот скоро ушел в норку... Высоко-высоко появился орел... Потом другой... Оба они кружили надо мной — но не спускались... Вдали появился третий...

И как это они учуяли добычу... И не ошиблись...

Вдали появилась движущаяся точка... Пара пошадей, запряженная в нетачанку...

Это Федя с кем-то торопился сюда... Лошади прекрасные, неслись вскачь...

— Ну взяли-таки зверяку!—воскликнул Федя, подъезжая ко мне.—А я кричал вам, чтобы не допускали до бал-

ки... У меня конь сплечился... Все-таки добрался до дому и за вами сюда приехал... Ну, ловко! Хорошо, что до балки не допустили, а то утек бы.

Осмотрели волка. Череп его был разбит, вероятно, с первого удара.

— А хорош-ай, хорош!—повторял Федя.—Как только вы его не упустили!.. Доберись до балки—ушел бы в горы...

— Да не ушел вот! Я эту балку, Федя, знал, когда ты еще не родился....

— Ловко!..—И Федя обратился к казаку:—Митро, а ну-ка, свежуй!

— Ну и брюхо набил! Знать, целого барана стравил!—бормотал Митро, сдирая шкуру.

Я ехал шагом на Наяде рядом с нетачанкой, рассказывая подробности охоты, к великому удивлению Феди, и получил одобрение от Митро, старого охотника, который не удержался и перешел на ты:

— Бирюка перехитрил! Вот так чорт!

— А ты нечистого не призывай и черных слов не произноси!—сделал ему замечание Федя, правоверный молоканин.

Навстречу нам низко и торопливо летели два орла.

— На обед едут,— указал кнутовищем казак.

Я оглянулся. Штук десять орлов и коршунов кружилось уже над редкой в это время года добычей. Влево Эльбрус покрылся темными тучами.

— Снег будет,— сказал Митро.

После обычного обеда, такого же, как и вчерашний ужин, с добавкой только гуся с яблоками и горы куропаток на огромном блюде, мы обошли конюшни, потом напились чаю, а после чая Митро на прекрасной паре золотистых персюков помчал меня под густыми тучами на Богословскую станцию.

Ногайская степь, как и всегда в эту пору, была мертвая, безжизненная, холодная и безмолвная. Разве лишь иногда встретится стадо молоканских овец, поднимется орел, со-

рвется стая куропаток, да иногда промчится на коне ногаец, потомок бывшего властителя этих степей,— а там опять тишь, мертвая тишь зимней степи, безлюдная, безмолвная...

На половине дороги начался снежный шурган — коней не видно!.. Но вот мелькнул красный диск, вдали послышался свисток паровоза и сразу перенес от мира и покоя беззаботной степи в шум города.

Одновременно с бежавшим и пыхтевшим поездом, побелевшим от снежной пурги, я подъехал к вокзалу и, тоже весь обледенелый, покрытый снегом, прямо бросился к буфету, чтобы как-нибудь согреться. Был второй час ночи. Оказалось, что пришел сильно запоздавший от метели скорый поезд, идущий на север. Через три минуты он отправлялся. Приходилось ужинать и согреваться в поезде. Я взял себе на ужин белый хлеб, бутылку водки, колбасу и две бутылки пива.

Митро тащил за мной багаж. Я влез в первый попавшийся вагон первого класса и ввалился в пустое купе. Чемодан и корзинку с гостинцами бросил в сетку, волчью шкуру, связанную шерстью вверх, на пол и простился с Митро. Кондуктор, вошедший за билетом, сказал мне:

— Вам бы в другой вагон, это старинный, неудобные диваны, жестко, да и трясучий... Рядом пульмановский, тоже пустой идет.

— Э, все равно,— ответил я.

Колеса заскрипели по рельсам, загромыхали на стрелках, поезд двинулся на север.

Я старался взглянуть в окно, — но оно все было бело от снега и льда. Мелькнули в моей памяти не сходившие несколько дней с моего горизонта головы Эльбруса, и сделалось как-то грустно...

Кинжалом я разрезал колбасу, при чем добрая половина ее упала на пол и откатилась к двери, где на полу лежала мерзлая волчья шкура... Я посмотрел на нее, но усталому было лень за ней протянуть руку. Выпив несколько глотков водки и съев колбасу, я хотел достать упавшую

половину, но ее уже не было: должно быть, укатилась под мой диван.

Дорожа каждым лишним движением, я взял бутылку пива, поставил ее на пол, чтоб легко можно было достать рукой, и лег, сделав несколько глотков. Лег и вытянулся.

Это было блаженство, которого я давно не испытывал. Я стал уже забываться, как вдруг волчья шкура, лежавшая на полу у двери, зашевелилась.

Уж не дух ли какого-нибудь кабардинца или ногайца вселился в волка?

Вдруг стоявшая рядом с диваном бутылка с пивом поклонилась горлышком к окну, при чем вылилось несколько капелек на пол, и исчезла.

Исчезла у меня на глазах, уползла под мой диван! Я понюхал табаку и стал соображать, что это такое. Вдруг под собой я услыхал: буль... буль... буль...

Кто-то пил под моим диваном!.. Я приподнялся, чтобы вскочить, и увидал вылезавшее из-под дивана горлышко бутылки, а затем чью-то руку, старавшуюся аккуратно, без шума водворить бутылку на прежнее место.

Я моментально вскочил, запустил обе руки под диван и вытащил злополучнейшего из людей. Несчастный, оборванный, бледный человек шептал:

— Не убивайте меня!

Я поднял его, крепко встряхнул для острастки и с размаху усадил на противоположный диван.

— Попался, дьявол!

Он умоляюще смотрел на меня и молил о пощаде... Я встал, взглянул, заперта ли дверь, и открыл занавеску половины фонаря, освещавшую противоположный диван.

Передо мной сидел, дрожа и щелкая зубами, оборванец в лаптях, в башлыке, плотно окутавшем голову.

А он воззрился на стол, ткнул пальцем на табакерку, на которой ярко сверкала золотая буква «Г», и рот раскрыл в недоумении.

— Ведь это она! Это, значит, вы?—и упал передо мной

на колени.—Теперь я вас узнал... Вот шея-то, поглядите!

Он сорвал башлык, и я увидел громадные желваки от ушей до плеч.

— Это я!

И он напомнил мне пароход на Волге.

— Я вот тогда,—показал он на табакерку,—за ваше добро у вас же ее из кармана стырил... Я хотел ее продать и доехать до Астрахани... Это за хлеб-то за соль вашу... Поили, кормили, а я... Вот и теперь тоже...

Он бормотал нескладно, отрывисто, без умолку. Я молча слушал и, наконец, в знак мира, открыл табакерку и поднес ему:

— Чорт с тобой, прощаю. Садись!

Он сразу повеселел. Понюхал, чихнул, сел на диван и все бормотал, бормотал нескладно и жалобно, в грехах своих каялся...

Я подал ему бутылку с водкой. Он жадно потянул из нее и закусил хлебом, а я нагнулся под диван в поисках колбасы.

— Вы колбасу ищете. Я ее схряпал! Я уж давно голодаю.

Затем он доел весь хлеб, допил пиво и начал рассказывать о своих похождениях, стараясь доказать первым делом, что залез на станции в вагон не с целью грабежа или убийства, а только затем, чтобы погреться и добраться до станции Кавказской...

— Ну как? Все еще с волчьим паспортом? — спрашиваю я.

— На что мне он? Нешто можно с ним к зиме бродяжить? Я его давно бросил. Лучше уж прямо бродягой назваться да до весны в каталажке просидеть, чем такой паспорт показывать—с ним в степи замерзнешь, никто к себе не пустит.

— А перо зачем?—спросил я, указывая на валявшийся на полу нож.

Он сконфузился,—лгать мне он не посмел,—это чувствовалось, и потому молчал.

— А если бы не я, а женщина одинокая ехала в купе? А если бы я заснул? Сонного пришить легко ведь...

— Что вы!.. что вы!.. Нешто вас можно? Вот табакерка-то, как увидал ее, так и... так и узнал вас сразу... По золотой букве... Нешто я ее забуду когда, вовеки веков, — пробормотал он.

— Так значит, окажись табакерка на столе боком или дном кверху: так... Да ты и увидал-то ее после! Ну да ладно, расскажи ты мне, где побывал после Нижнего.

— Ой, да что уж и говорить! Ведь два года с гаком прошли... Ну тогда, после вас, на зевекинском пароходе я сбежал на низ... К зиме проходное свое свидетельство бросил—сказался на Псков. Этапом послали... К весне опять вышел в путь. В Питере снова попал в полицию... Послали в Яренск. А я под Любань к «сестре Варваре» ударился, всю зиму у ней околачивался... Весной опять на Волге маячил, на зиму махнул к дяде-серебряннику в Питер, а оттуда вот этим летом выслали в Пермь, а я сюда подался... Все лето здесь по хуторам околачивался... Иногда и хорошо жил, у молокан работал. Да дело одно не выгорело... Ухрял... Только ту зиму у «сестры Варвары» и отдохнул, за дворника работал да за кашевара...

Поезд загромыхал по стрелкам станции Кавказской и остановился.

— Ну убирайся...— проговорил я.—Вот тебе на разживу! — и я дал ему, как и прошлый раз, пять рублей.

Уходя, он нагнулся, чтобы поднять свой нож, но я наступил на него ногой:

— Ножа не дам. Пошел вон!

Бродяга мгновенно исчез. Лезвие ножа, узкое, остро наточенное, сантиметров двадцать длины, ручка роговая, кольчатая, дагестанской работы. Правда, потом оказалось, что нож простой, железный, и им я до сего времени разрезаю книги да грибы в лесу режу.

Я видел, как бродяжка выскочил из вагона в противоположную вокзалу дверь, на неосвещенное полотно дороги, и побежал за дрова.

Волчий паспорт — это было проходное свидетельство, выдаваемое полицией на право пройти на свой счет от одного пункта России до другого, при чем владелец такого паспорта обязан был проходить в сутки от двадцати до двадцати пяти верст, а следовательно, более суток в одном селении оставаться не мог. Переночуй и иди! Агасфер!

Из Вологды в Керчь и из Керчи в Вологду. Это такой паспорт, который с удовольствием бросал его владелец, особенно при наступлении морозов, когда выгоднее было назваться бродягой и сидеть в кандалах в тюрьме, чем замерзнуть наверняка в степи, с недельку перед смертью в глаза не видав кусочка хлеба.

Вот с таким-то субъектом у меня и происходила милая беседа в купе.

Он являлся одним из сквернейших представителей бродяжного мира. Такой человек готов был на все. Если бы его не соблазнила колбаса и пиво и если бы он не выдал ранее своего присутствия, — я вполне уверен, что он не ограничился бы тем, чтобы только погреться, как он говорил, в вагоне и доехать до станции Кавказской. Если бы в купе вместо меня была женщина или слабый человек,— едва ли бы дело не кончилось преступлением. Порукой этому служил выпавший у него нож.

Вообразите положение женщины, когда из-под дивана вылезает оборванец с ножом! Да и сонного мужчину прирезать было не долго. Чем такой бродяга рисковал? Кругом простиралась степь без конца и края, темная ночь, а даже если бы и попался бродяга, ему грозила тюрьма и каторга, что было все же лучше, чем смерть словно голодной собаки в степи.

Это были бродяги по закону. Они не имели возможности пристроиться где-либо в одном месте, а обязаны были,

как фантастический «вечный жид», итти и итти прямо без дороги, без цели, без конца,— итти до самой смерти.

Нередко весной в донских и кубанских степях, особенно после снежных зим, находили трупы «оборванцев», а иногда только кости, растасканные зверями и собаками. В большинстве случаев это оказывались не привыкшие к местным условиям несчастные бродяги по закону, погибшие от холода, голода и метелей.

С наступлением холода много их появлялось на станциях Владикавказской железной дороги. Изможденные, оборванные, измученные, дрожавшие в своих отрепьях от холода, они вечно осаждали начальников станций и жандармов просьбами довезти их до следующей станции. Садились в вагон, надеясь, что кто-нибудь из пассажиров покормит, а ночью удастся что-нибудь стянуть.

Масса краж из вагонов, грабежей около станций железных дорог совершалось ежедневно по линии Владикавказской железной дороги, и хотя далеко не во всех принимали участие «бродяги по закону», но все сваливалось на них.

Это было очень удобно: ведь бродяги эти, дескать, люди без настоящего и будущего, которым тюрьма—дом, кандалы — игрушки; люди с волчьим видом!.

— Почет тебе, как волку бешеному: ни тебе работу, ни тебе ночлег—мандруй без останову, пока не сдохнешь!— объяснил мне откровенно один из таких бродяг с проходным свидетельством и тоже припомнил «сестру Варвару», как и тот мой бродяжка.

И я разыскал эту удивительную «сестру».

Действительно, близ Любани, станции Николаевской железной дороги, жила «сестра Варвара» в основанной ею же пустыньке, приюте для проходящего скитающегося люда.

Эта пустынька была истинным благодеянием.

«Сестра Варвара», украинка родом, прекрасно образованная, долго жившая за границей, после смерти мужа вся отдалась служению несчастному, страждущему люду. Она

с целью изучения посещала трущобы, наблюдала быт бесприютных скитальцев, людей с волчьим паспортом и затем создала им приют на пути следования из Петербурга в глубь России.

К ней туда приходили дождливой осенью и холодной зимой полунагие, голодные, грязные люди, которых все сторонились, люди без паспорта, с темным прошлым, готовые на преступления, которых все гнали от себя, боясь за свое имущество и жизнь.

И «сестра Варвара» принимала их, кормила, мыла, перевязывала им раны.

Это было давно, в прошлом столетии. О дальнейшей судьбе «сестры Варвары» и ее приюта я с той поры не слыхал.

«ПИКОВАЯ ДАМА»

В 1885 году, 1 января, выползли на свет две газетенки, проползли сколько смогли и погибли тоже почти одновременно, незаметно, никому не нужные. Я помню, что они выходили, и только. Мне тогда было не до них. Я с головой ушел в горячую работу в «Русских ведомостях», конкурентами по моему репортерству эти газетки быть не могли, пустые и безжизненные, и если я теперь припоминаю их, то уж никак не за газетные их достоинства, а по связи с интересными людьми.

Газеты те—«Голос Москвы» Васильева и «Жизнь» Погодина.

В первой из них редактором был Н. В. Васильев, передовик «Московских ведомостей», а издателем—И. И. Зарубин, более известный в Москве под кличкой «Хромой доктор».

И действительно Иван Иванович и хромал и был доктором, никогда никого, правда, не лечившим,—он отдавался целиком разным издательствам, которые вечно прогорали, и, задолжав, обычно исчезал из города. Так он исчез из Питера, где издавал журнал «Здоровье», окончившийся, как и все издания этого доктора, от недостатка средств. Когда в редакцию явился судебный пристав описывать за долги имущество Зарубина, то нашел его одного, в единственной комнате с единственным столом, заваленным вырезками из

газет, и с постелью, постланной на кипах журнала, а кругом, вдоль стен, вместо мебели, лежали такие же кипы. Зарубин, с ножницами в руках, любезно встретил судебного пристава и, указывая ему на одну из кип, предложил:

— Садитесь на «Здоровье»!

«Голос Москвы» Хромой доктор издавал года за два до «Здоровья». Эта газета для меня памятна прежде всего тем, что в ней В. М. Дорошевич, впоследствии широко известный фельетонист, прямо с гимназической скамьи начал свою литературную карьеру репортером. Его ввел в печать секретарь редакции А. П. Ландсберг.

Много-много лет спустя Дорошевич в дружеской беседе рассказывал мне о первой нашей встрече, когда он возненавидел меня.

Разыскивая разнообразные сенсации для «Голоса Москвы», он узнал однажды, что в сарае при железнодорожной будке, близ Петровско-Разумовского, только что зарезали сторожа и сторожиху. Полный надежд дать новинку, Дорошевич тотчас же бросился на место происшествия и, отмахав пешком верст десять по июльской жаре, застал еще трупы на месте. Сделав описание обстановки, собрав сведения, он попросил разрешения войти в будку, где судебный следователь производил допрос.

— Я обратился к уряднику,— рассказывал он мне через десять лет,— караулившему вход, с просьбой доложить следователю обо мне, как вдруг отворилась дверь, из нее быстро вышел кто-то—лица я не рассмотрел—в белой блузе и высоких сапогах, прямо с крыльца прыгнул в пролетку, дал по шее дремавшему лихачу, крикнул—и закрутилась за ними пыль по дороге.

Меня принял судебный следователь Баранцевич, которому я отрекомендовался репортером.

— Опоздали, батенька! Уж Гиляровский из «Русских ведомостей» был и все знает... Только что сейчас вышел... Вон едет по дороге!..

Я скис! Я был оскорблен в лучших своих чувствах и тебя в тот миг возненавидел!..

Печатался «Голос Москвы» в надворном флигеле в доме князя Горчакова на Страстном бульваре, в типографии В. Н. Бестужева, который был кругом в долгах,— и ему же, в свою очередь, был должен только один человек на свете: Зарубин!

Скоро сотрудникам перестали аккуратно платить—и редактор Васильев ушел. Под газетой появилась подпись: редактор-издатель Зарубин, а к декабрю он уже перестал фактически быть владельцем газеты, она перешла к Бестужеву, который и объявил о подписке на 1886 год. Подписка прошла плохо. Тогда, забрав деньги злополучных подписчиков, Бестужев прекратил газету, а Зарубин, по обыкновению, исчез из Москвы...

В этой типографии еще печаталась единственная газета «Жизнь». Издательницей была Н. М. Погодина, редактором—Д. М. Погодин, сын известного ученого М. П. Погодина, владелец типографии в д. Котельниковой на Софийской набережной. В этой типографии у него в 1881 году начал печататься «Московский листок», но через год перешел в свою типографию. Успех «Московского листка» вскружил голову супругам Погодиным, и они начали издавать свою «Московскую газету», при чем никогда не доканчивали подписного года и наконец, потратив все наличные деньги из своего наследства, совсем прекратили издание, а с 1 января 1885 г. выпустили за теми же подписями новую газету «Жизнь» и начали печатать в своей типографии. Газета не шла ни в розницу, ни по подписке, и весной типографию у Погодиных отняли за долги, и газета стала печататься в типографии И. И. Смирнова, на Маросейке, в д. Хвощинской. Платить было нечем, и выпуск газеты надо было прекратить, но тут явился на помощь известный адвокат Ф. Н. Плевако,—он дал денег, напечатал несколько статей, однако от дальнейшего участия отказался.

Года за два перед этим в Москве появился некто В. Н. Бестужев, дворянин одной из черноземных губерний, выдававший себя за богатого человека, что ему сперва удавалось, тем более, что наружность его помогала ему в этом. Хорошо сложенный, красивый малый, украшенный орденами, полученными во время Турецкой кампании, он со всеми перезнакомился, вел широкую жизнь, кутил и скандалил, что в особый грех тогда не ставилось.

Вскоре он приобрел большую типографию в доме П. И. Шаблыкина, на углу Большой Дмитровки и Газетного (впоследствии Камергерского) переулка. П. И. Шаблыкин, состоявший в те времена чиновником особых поручений при генерал-губернаторе, покровительствовал своему арендатору типографии, открытой Бестужевым, кажется, на имя жены, которая не касалась дела, так что распоряжался всем он сам. В типографии его печатались тогда «Современные известия» и еще несколько изданий. Сам он тоже выпускал на имя жены какой-то «Листок объявлений», выходивший раза три-четыре в год. Желание иметь свою газету в нем кипело. Он пробовал просить разрешение на издание, но ему, с его репутацией всем известного скандалиста, получить такое разрешение не удавалось. Потом его типография очутилась в доме князя Горчакова. И вот, узнав, что дела Погодиных плохи, Бестужев вошел в газету с тем, чтобы имена издателей и редактора оставались старые, а фактически газета принадлежала ему, и начал печатать ее у себя с № 110.

Редакция помещалась на третьем этаже надворного флигеля домов Шаблыкина, на Большой Дмитровке против конторы Большого театра, где впоследствии был Театральный музей Зимина. Заведывал редакцией секретарь Нотгафт, англизированного вида, с рыжими холеными баками, всегда изящно одетый, в противовес всем сотрудникам, журналистам последнего сорта, которых Бестужев поил в редакции водкой, кормил колбасой, ругательски ругал, не слыша никогда возражений, потому что все знали его огромную физическую силу и привычку к мордобою.

Издательница и редактор не бывали в редакции: чего доброго, еще изобьет! Газета печаталась—и не шла... Объявлений никто не давал. Были только два бесплатных объявления: первое:

ПРОДАЕТСЯ БИБЛИОТЕКА ПОКОЙНОГО М. П. ПОГОДИНА, 10 000 ТОМОВ. ЕСТЬ КНИГИ НА САРМАТСКОМ, ШВЕДСКОМ И ФИНСКОМ ЯЗЫКАХ.
ОБШИРНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ ОТДЕЛ.

второе:

ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЛЕРЕЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ (120, МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ), ОСТАВШАЯСЯ ПОСЛЕ ПОКОЙНОГО М. П. ПОГОДИНА, ПРОДАЕТСЯ.
Софийская набережная, дом Котельниковой.

И вот однажды, после того как Бестужев долго метался по редакции, красный от волнения и вина, он, выгнав в конце концов и всех сотрудников, остался вдвоем с Нотгафтом. Какие были у них разговоры—никто не знал,—но в газете на первой и второй страницах появился большой фельетон под заглавием:

ПИКОВАЯ ДАМА

Повесть

Пиковая дама означает тайную недоброжелательность.
Новейшая гадательная книга.

Я, прочитав заголовок и первые строки, не стал читать дальше, а открыл шкаф, достал Пушкина и взглянул на дальнейший текст. Как в книге, так и в газете строчки были одинаковы:

«Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова»...

Дальше:

«Герман—немец, он расчетлив, вот и все»... И т. д. и т. д.

В конце в газете стояла подпись: «Н о г т е в» и «П р о д о л ж е н и е с л е д у е т».

Эффект был поразительный! По Москве только и говорили, что «Пиковая дама» Пушкина напечатана в газете «Жизнь»! Газета бралась нарасхвт.

Всю розничную продажу газет в Москве того времени держал в своих руках крупный оптовик П. И. Ласточкин, имевший киоски у Сретенских ворот и на Моховой. Как и почему—никто этого тогда не знал—Ласточкин еще в четыре часа утра взял в типографии несколько тысяч экземпляров «Жизни» вместо двухсот, которые брал обычно...

И не прогадал. Мало того—чуть не целый день в типографии печатался дополнительно этот номер, и его раскупали газетчики для удовлетворения читателей.

Газеты напустились на эту выходку «Жизни», кто обвинял ее в безграмотности, кто в халатности редакции, бранили злополучных голубков — Погодиных.

Один издатель «Московского листка» Н. И. Пастухов понял, в чем тут было дело. Когда ему за утренним чаем А. М. Пазухин, романист «Московского листка», вошедший с рукописью и газетой «Жизнь» в руках, подал заметку о безграмотности редакции, Н. И. Пастухов, уже прочитавший газету, показал своему сотруднику кукиш и сказал:

— А этого он не хочет?

— Я не понимаю, Николай Иванович! Кто?

— Бестужев твой! Ведь это он для рекламы такую штуку отчубучил! Петрушку Ласточкина спроси! Он все знает. Вот, гляди, завтра все его ругать начнут,— а ему только этого и надо.

И прав был Н. И. Пастухов. Газета с этого дня пошла в ход. Следующий номер тоже разошелся в большом количестве. В нем было помещено следующее:

Письмо в редакцию.

Чтобы снять с почтенной редакции газеты «Жизнь» всякое нарекание в каком-либо недосмотре или небрежном отношении к делу, прошу напечатать настоящее мое заявление: заведуя в качестве секретаря редакции получаемыми рукописями и формируя к выпуску газету, я во вчерашнем № 125 «Жизни» допустил напечатать фельетон «Пиковая дама». Вполне доверяя лицу, мне лично известному, и без ведома редактора приняв вышеозначенный фельетон, я прямо передал его в набор, никак не предполагая, что здесь кроется плагиат, и затем допустил его к напечатанию. Грубая ошибка была обнаружена уже по выходе газеты, и только настоящим письмом я имею возможность разъяснить мистификацию.

К. Нотгафт

— Кто же такой Ногтев? Фамилия, неслыханная в литературных кругах!—интересовались многие.

А на это некоторый свет бросали сведения, добытые в типографии: там говорили, что сначала, в гранках,—фельетон был без всякой подписи, потом—на редакторских гранках — появилась подпись, судя по руке, сделанная Бестужевым—«К. Нотгафт», и уже в сверстанном номере подпись «К. Нотгафт» рукой выпускающего была зачеркнута, и поставлено «Ногтев».

Н. И. Пастухов был прав. Газету разрекламировали. На другой день вместе с этим письмом начал печататься сенсационный роман А. И. Соколовой — «Новые птицы — новые песни» за ее известным псевдонимом «Синее домино». Роман заинтересовал публику и на некоторое время удержал повышенную розницу. Появились платные крупные объявления. Половину первой страницы заняли театры: «Частный оперный театр» в доме Лианозова в Газетном переулке, «Новый театр Корша», «Общедоступный театр Щербинского», носивший название Пушкинского, в доме барона Гинзбурга на Тверской, «Театр русской комической оперы и оперетки И. Сетова» в доме Бронникова на Театральной площади. На четвертой странице появились объявления докторов по секретным болезням, о «подседно-копытной мази от всех болезней Иванова», затем стали помещать объявле-

ния и крупные фирмы: мануфактура Саввы Морозова, «Банкирская контора Выдрина», Брокар, Ралле, Депре.

Я часто читал в мелких газетах судебные отчеты о скандалах Бестужева, но не интересовался им. Для серьезных «Русских ведомостей» это был фрукт не созрелый, еще пока не упавший на скамью подсудимых окружного суда,— но я все-таки надеялся, что рук моих он не минует. И странно, что я, репортер, ни разу с ним не встречался в Москве! Потом он вдруг затих. Говорили, что он женился на богатой,—женился—переменился! Затем я услыхал, что Бестужев снял большую типографию, занялся издательским делом... А потом, через полгода, опять закрутил...

Как-то раз я выходил из театра Корша. Меня обогнал швейцар Роман, стремительно выбежавший на крыльцо и проревевший:

— Одиночка Бестужева! Герасим!

За ним вышел в николаевской шинели с бобровым воротником и в волчьей папахе атлетического сложения мужчина с закрученными усами и сверкавшими глазами.

Роман побегал, поискал, вернулся и доложил:

— Герасима нет... Его в участок, пьяного, отправили...

— Мерзавец. Уж и морду же я...—загремел атлет, взглянул на меня, остановился на полуслове, от удивления раскрыл рот, стремительно бросился и обнял меня:

— Сологуб! Ты ли это?.. Откуда?.. Поедем к «Яру»!..

Сделавшись центром внимания знакомых, выходивших из театра, да еще под чужой фамилией, я скорее спустился с ним на тротуар, а потом, пока он нанимал извозчика к «Яру», исчез в толпе и долго слышал еще его ругань.

— Так вот он каков, Бестужев!—подумал я тогда.

Эта встреча была вскоре после напечатания «Пиковой дамы», легенды о которой бегали по Москве, а настоящей правды никто не знал. После этой встречи с Бестужевым я поверил, что выкинуть штуку мог только он.

А Бестужева, повидимому, в это время дела не веселили. Он перевел в свою типографию и редакцию «Жизни» в

дом Горчакова на Страстном бульваре. Кредиторы и полиция ловили Бестужева, первые за долги, вторые—чтобы отправить на высидку в «Титы» по постановлениям десятка мировых судей, присудивших его к аресту за скандалы и мордобития. Ни сотрудники, ни типография денег не получали. Одна газета закрылась, другая же продолжала все-таки кой-как выходить. Лучшие наборщики разбежались, остались же пьяницы и «подшибалы» с Хитрова рынка. Так назывались безработные наборщики, получавшие работу в некоторых типографиях поденно в каком-нибудь экстренном случае. Днем они поочередно, занимая друг у друга опорки и верхнее рваное платье, выбегали из ворот в Глинищевский переулок и становились в очередь у окна булочной Филиппова, где ежедневно производилась бесплатная раздача хлеба нищим. Давали куски по фунту и больше. Так питались «подшибалы» и рабочие Бестужева. Спали они тут же в типографии под наборными кассами, на полу, спали в кухне, где кипятился куб с горячей водой, если им удавалось украсть дров на дворе. О жалованье и помину не было. Поздно ночью, тайком являлся к ним пьяный Бестужев, посылал за водкой, хлебом и огурцами, бил их смертным боем—и на утро газета все-таки выходила. «Подшибалы» чувствовали себя как дома в холодной нетопленной типографии, и так как все они были разуты и раздеты, босые и полуголые, то в октябрьские дожди уже не показывались на улицу.

Газета продолжала выходить — и вдруг на номере 223-м остановилась,—это был последний номер издания Бестужева.

Явившаяся по требованию домовладельца полиция выгнала силой «подшибал» и многих отправила в больницу: у кого оказался тиф, у кого—рожа! В этот год в Москве свирепствовали заразные болезни, особенно на окраинах и по трущобам. В ночлежках и притонах Хитровки и Аржановки то-и-дело заболевали то брюшным, то сыпным тифом, скарлатиной, рожей...

Мне в поисках сенсационного материала для газеты приходилось мотаться по трущобам. И вот на одном таком расследовании на Хитровке, а именно в доме Ярошенко, в квартире, где жили «подшибалы», работавшие у Бестужева, я заразился рожей. Когда же я поправился и снова взялся за работу, Бестужев, долго служивший темой для разговоров, исчез из Москвы навсегда. За все время его пребывания в Москве у меня, кроме театра Корша, была только одна встреча с ним—за завтраком в ресторане «Ливорно».

Как-то вечером забежал я перекусить в этот актерский ресторанчик в Кузнецком переулке. Публики по летнему времени никого не было. За столом сидели трое: Дорошевич, Риваль, Прохоров, талантливый романист, старый мой друг, и Бестужев. Конечно—он угощал. Дорошевич носил в те времена потрепанные штаны, настолько короткие, что не закрывали худых штиблет. Риваль был в мятой крахмальной рубахе и галстуке шарфиком, бант которого раскинулся по засаленному воротничку пиджачка с короткими рукавами, а Бестужев—в шикарной паре.

— Гиляй, милый, садись с нами! Это Бестужев... Это Дорошевич... А это Владимир Алексеевич Гиляровский, которого вы конечно знаете.

Они оба встали и пожали мне руку. Дорошевич на меня смотрел сумрачно, а Бестужев расплылся в улыбку:

— Да мы с Владимиром Алексеевичем давно знакомы... Во-первых, оба, так сказать, герои Турецкой войны, а потом по Пензе... Я Пензенский помещик...

О встрече у подъезда театра Корша—ни слова.

И он начал рассказывать, как мы кутили в Пензе, катались на тройках, обедали у губернатора—и чорт знает что врал. Я не мешал ему — и он, повидимому, был очень этим доволен...

А на самом деле было все не так. В 1878—1879 году я служил актером, под фамилией Сологуб, в труппе Далматова в Пензенском театре, куда приехал прямо из Турции, с войны. В один из вечеров шла оперетка «Птички пев-

чие» с участием лучшей опереточной певицы того времени И. А. Раичевой. Губернатора играл Далматов, Пикилло — Печорин, полицеймейстера — я... Сбор был неполный, но недурной.

Во время первого антракта я посмотрел со сцены в дырочку занавеса. Публика — умная в провинции публика! — почти уже вся уселась, как вдруг, стуча костылями и гремя шпорами и медалями, вошел, возбуждая общее любопытство, коренастый, могучего вида молодой драгунский унтер-офицер, вольноопределяющийся, и сел во втором ряду.

В последнем акте, глядя со сцены, я заметил, что занятое им место было уже свободно.

Публика разошлась. Мы разгримировались и переодевались. Вдруг в уборную Далматова вбежал буфетчик с жалобой, что какой-то военный на костылях, весь в орденах, еще в предпоследнем антракте уселся в комнатке при буфете, распорядился подать ему вина и закусок на двадцать рублей, напился и уснул.

— Когда я его стал будить, — продолжал буфетчик, — он начал ругаться, вынул револьвер, грозил всех перестрелять, а когда я сказал, что пошлю за полицией, он заявил, что на полицию плюет и разговаривать будет только с плац-адъютантом. Мы уже посылали за полицией, но квартальный его знает и боится войти: застрелит!

Далматов сразу смекнул, что тут надо делать, и ко мне:

— Володя, надень свою черкеску, георгия, возьми у реквизитора офицерские погоны и аксельбанты адъютантские, подклей усики и нагони-ка на него холоду.

Я надел свою черкеску с малиновым бешметом, нацепил георгия, общеармейские погоны поручика и шашку. Для устрашения подклеил усы, загнул их кольчиком, надвинул на затылок папаху и пошел в буфет, откуда далеко разносился шум.

Подойдя к двери в буфет, я посмотрел в щель. Развалившись на стуле, за столом, заставленным посудой, сидел огромный юнкер, стучал по столу и требовал шампанского.

На соседнем стуле лежали два черных костыля и шинель солдатского сукна.

В коридоре толпились актеры и смотрели в другую дверь. Я быстро подошел к скандалисту.

— Встать! — крикнул я так, что юнкер в испуге вскочил, забыв о костылях, и взял под козырек, хотя шапки у него не было.

— Какого полка?

— Московского драгунского...

— Это что у вас за медали? Откуда—медаль в память войны двенадцатого года? А Севастопольская? А за усмирение польского мятежа? Откуда они?

— Я старший в роде... Отцовские и дедовские медали...

— А почему за последнюю войну шесть штук одинаковых?

— Из разных мест посылали!..

— А костыли для чего?

— У меня была сломана нога.

Он к каждому слову прибавлял «г. поручик» и отрезвел сразу.

— Ну вот что, молодой человек... Я сам был молод, сам кутил... Прощаю вас на первый раз. Извольте уходить домой!.. Следовало бы вас за эти медали и за все поведение послать на гауптвахту—но я прощаю. Идите!

— Очень благодарен, г. поручик... Извиняюсь... лишка выпил...—и уже совсем другим тоном обратился к буфетчику:—Эй, ты, сколько с меня?

— Двадцать рублей...

Он вынул из кармана пачку денег, бросил двадцатипятирублевку.

— Сдачи не надо!

— Г-н поручик, разрешите надеть шинель?

— Одевайтесь и уходите... живо!

Я повернулся и вышел в коридор. На него надели шинель, и он молча застучал костылями по коридору, в подъезде бросив рубль сторожу Григорьичу, запиравшему дверь.

На следующий день театрал и приятель Далматова, пристав Крылов, которому Далматов передал все о вчерашнем случае, сказал, что это был действительно драгунский юнкер Владимир Бестужев, который, вернувшись с войны, пропивал свое имение, и что как раз в этот день губернатор выслал его из Пензы за целый ряд буйств и безобразий. Крылов уже раньше знал все происшествие от буфетчика, который также рассказывал обо всем в гостинице Варенцова, где остановился Бестужев, и последний собирался итти и пристрелить актера Сологуба, так его осрамившего, но в это время явилась полиция и, не выпуская Бестужева на улицу, выпроводила его из Пензы... Таково было наше первое знакомство.

После закрытия газеты Бестужев как в воду канул.

Прошло много лет: Дорошевич уже стал знаменитостью, ненависть его ко мне давно обратилась в теплую и долгую дружбу. Он совершил свою поездку на Сахалин и, вернувшись в Москву, первым делом приехал ко мне.

— А тебе я с Сахалина поклон привез от приятеля.

— От доктора Лобаса?

С доктором Лобасом я был в переписке по поводу его кружка на Сахалине «Помощь каторге».

— Что Лобас! От Володьки Бестужева! Много о тебе говорил, вспоминал, как ты ему в Пензе хлочу задал.

Оказалось, что Бестужев по протекции знатной родни очутился на Сахалине в должности смотрителя каторжной тюрьмы и здесь только нашел настоящее удовлетворение своей буйной натуре. Он бил каторжников смертным боем — и при этом уверял всех и был сам глубоко уверен, что он еще лучший из Сахалинских тюремщиков. Каторга звала его «Атаман Буря». Все-таки за зверства, растраты, пьянство он попал под суд, но не дождался его, умер от разрыва сердца в камере следователя при первом допросе.

В ШАХТЕ

Это было за пятьдесят лет до постройки московского метро.

Я стоял перед черным отверстием четырехугольной шахты, обложенной досками.

Мой проводник зажег свечу.

Перед нами зияло черное подземелье. Над нами висел канат с крюком.

Кругом весь пол был покрыт влажными осколками и грязью, вытащенной из земли. У самого края ямы на рельсах пустой вагончик.

Артезианский колодец был начат в половине семидесятых годов, закончен в половине восьмидесятых и просуществовал до 1917 года, давая до трехсот тысяч ведер в сутки. Он обслуживал, главным образом, Московские городские бойни. Скважина его, до четырехсот метров глубины, была заложена на Яузском бульваре и соединена с водокачкой в Серебряническом переулке штольней в двести пятьдесят метров длины, проложенной глубоко под землей. Посреди Яузского бульвара до 1932 года стояла неуклюжая безглазая будка, и немногие знали, что под ней скрывается железная труба бывшего артезианского колодца, облепленного тою же грязью. Слева спускалась деревянная коленчатая

лестница с перилами и мало-помалу уходила в глубокий мрак.

Мы начали спускаться. С каждым шагом вниз пламя свечи становилось все ярче и ярче и все отчетливее вырисовывало на бревенчатой стене силуэты. Дневной свет не без борьбы уступал свое место слабому пламени свечи. Через минуту кругом темно, как в заколоченном гробу.

По мере того как я спускался, меня обдавало все более и более холодной, до кости пронизывающей сыростью. А тихо было, как в могиле. Только ручей где-то под ногами шумел, да вторили ему десятки других ручейков поменьше, выбивавшихся из каменной стены. Передо мной был низкий и, казалось, бесконечный темный коридор. Я взглянул вверх. Над головой виднелось узенькое окошечко синеватого дневного света,—это был выход наружный из шахты, через который мы спустились. Узкая лестница уходила вверх какими-то странно освещенными зигзагами и серебрилась на самом верхнем колене.

Через секунду открылся четырехугольный коридор горизонтального прохода, проложенного при помощи динамита. Это была штольня. Вход напоминал мрачное входное отверстие в склепы египетской пирамиды, с резко очерченными прямолинейными контурами.

Впереди был мрак, подземный мрак, свойственный глубоким подземным пещерам.

Мерцавшая и почти ежеминутно тухнувшая в руках у меня свечка слабо озаряла сырые каменные, с деревянными рамами стены, с которых сбегала мелкими струйками вода. Вдруг впереди что-то загремело, и в темной дали обрисовалась черная масса, громыхавшая навстречу. Это была ручная вагонетка. Она с грохотом прокатилась мимо нас и замолкла. Наступила опять та же мертвая тишина. Стало жутко.

Стены штольни и потолок начали постепенно как-то теряться из виду, контуры стушевывались, и мы снова оказались в темноте. Мне показалось, что свеча моего проводника

потухла, но я ошибся. Он обернулся ко мне, и я увидел крохотное пламя, чуть-чуть обвивавшее фитиль. Справа и слева, на пространстве немного более двух вытянутых рук, частым палисадом стояли бревна, подпиравшие верхние балки потолка. Между ними сквозили острые камни стены туннеля. Они были покрыты липкой слизью. Вода журчала под ногами и капала сверху.

— Вот градусник,—указал мой проводник.—Показывает всего семь градусов одинаково зимой и летом, днем и ночью. Еще зимой иногда теплее бывает... Босяки с Хитрова зимой раза два приходили, ночевать просились.

Вдруг свечка погасла.

Впереди, километрах как будто в двух, появилась какая-то тускло горевшая красно-желтая звезда, она не разбрасывала лучей, а горела резко очерченным радужным овалом. Через десять шагов мы уже были около нее,—двухкилометровое расстояние оказалось оптическим обманом,—это дымила маленькая лампочка без стекла. Мы миновали ее.

Вдали передо мной опять такой же точкой заалелся огонек,—другая лампа. Впереди нас начали слышаться глухие удары, которые вдруг сменились страшным, раздавшимся над головой грохотом, будто каменный свод рушился. Это над нами по мостовой Николо-Воробьинского переулка проехала телега, объяснил мне мой спутник.

Дышать становилось нечем. Воздуха делалось все меньше и меньше.

Вдали, откуда-то из преисподней, послышались неясные глухие голоса. Они звучали так, как будто люди говорили, плотно зажав рот руками. Среди нас отдавалось эхо этих голосов. Почувствовалось, что мы не одни в этом подземелье, что тут есть еще живые существа, еще люди. Раздавались мерные, глухие удары.

Блеснули еще две звездочки, но еще тусклее: это значило, что впереди еще меньше кислорода, дышать будет еще

труднее. Наконец, как в тумане, показалась освещенная лампой желтая стена, около которой стояли и копошились темные человеческие фигуры.

Это были рабочие.

Почва под ногами менялась, то выступала из воды, то снова погружалась в нее. Местами бревна в стенах расступались и открывали зиявшее отверстие—лагунку, в которую прятались рабочие при взрыве динамитом твердой породы кремнистого известняка.

Это были западни.

Не успел я заглянуть в одну из них, как до меня донеслось:

— Ставь патроны! Эй, кто там, сейчас подпалим!.. — предупредили нас о взрыве.

— Вот сюда!—и меня торопливо толкнули в западню.

Подпалив фитили, рабочие тоже побежали к западне, тяжело хлюпая по воде. К нам присоединился мокрый и закоптелый инженер П. Л. Николаенко, лично производивший все взрывы и с утра до ночи находившийся под землей. Тут и познакомились литератор с инженером — ощупью.

Нас было пятеро.

Все мы плотно прижались к стене, а один стал закрывать отверстие деревянной ставни. Слева жутко доносился сухой треск горевших фитилей.

Я из любопытства немного отодвинул ставню и просунул голову, но рабочий быстро отдернул меня назад:

— Куда суешься — убьет! Во какие сахары полетят!

Он раздвинул мокрые руки и задел меня одной из них по лицу, а другой по плечу, желая показать величину этих «сахаров».

Не успел он договорить, как раздался громкий удар, треск, за ним другой, потом третий, затем оглушительный грохот каких-то сталкивавшихся масс,—и мимо нас пролетела целая груда осколков и глыб.

Сильным ударом камня ставню вышибло и отбросило на середину туннеля.

Мы вышли из западни. И без того удушливый воздух был теперь наполнен густыми клубами динамитных паров. Лампы погасли. Мы очутились в полном мраке. Этот мрак был так густ, что самая темная осенняя ночь в сравнении с ним казалась сумерками.

Дышалось тяжело.

Ощупью, почти по колено в воде, стараясь не сбиться с деревянной настилки, мы пошли к шахте. Я попробовал зажечь спичку, но она погасла.

Мы были на глубине тридцати метров под улицами Москвы.

ТАЙНЫ НЕГЛИНКИ

Трубную площадь и Неглинный проезд почти до Кузнецкого Моста заливало при каждом ливне и заливало так, что вода водопадом хлестала в двери магазинов и в нижние этажи домов этого района. Происходило это оттого, что никогда не чищенная подземная клоака Неглинки, проведенная от Самотеки под Цветным бульваром, Неглинным проездом, Театральной площадью и Александровским садом вплоть до Москвы-реки, не вмещала воды, переполнявшей ее в дождливую погоду. Это было положительно бедствием, а город не обращал никакого внимания.

В древние времена здесь была речка Неглинка, засорявшаяся по мере развития города; еще в Екатерининские времена она была заключена в подземную трубу: набили сваи в русло речки, перекрыли каменным сводом, положили деревянный пол, устроили истоки уличных вод через спускные колодцы и сделали подземную клоаку под улицами. Кроме законных сточных труб, проведенных с улиц для дождевых и хозяйственных вод, большинство богатых домовладельцев, имевших вблизи клоаки огромные дома, провели в Неглинку тайные подземные стоки для спуска нечистот, вместо того чтобы их вывозить в бочках, как это делалось повсеместно в Москве до устройства канализации. Огромные отверстия труб выходили в стены свода Неглинки. И все эти нечистоты шли в Москву-реку, и обо всем

этом знала полиция, которой это было выгодно, и обо всем этом знали гласные, тоже домовладельцы, и все, должно быть, думали: не нами заведено, не нами кончится.

Побывав уже под Москвой в шахтах артезианского колодца и прочитав описание подземных клоак Парижа в романе Виктора Гюго «Отверженные», я решил во что бы то ни стало обследовать и Неглинку. Это было продолжение моей постоянной работы по изучению московских трущоб, с которыми Неглинка имела связь, как мне пришлось узнать в притонах Грачевки и Цветного бульвара... А тут еще ночная история на Цветном бульваре, когда я увидал, как через водосток собирались спустить в Неглинку опоенного и ограбленного, — и я решился. С трудом нашел я себе спутников — двух смельчаков, решившихся на это путешествие. Один из них был беспаспортный водопроводчик, пробавлявшийся поденной работой, другой—бывший дворник, человек солидный, обстоятельный. На его обязанности было спустить лестницу, по которой мы должны были спуститься в клоаку между Самотекой и Трубной площадью, а затем встретить нас у последнего пролета близ Трубной и вновь спустить лестницу — для нашего выхода. Водопроводчик обязан был сопутствовать мне в подземельи и светить.

И вот в жаркий июльский день мы подняли против дома Малютина близ Самотеки железную решетку спускного колодца и опустили туда лестницу. Никто не обратил внимания на это,— сделано было все очень скоро.

Федя—водопроводчик — полез первый, отверстие, зловонное, сырое и грязное, было узко, лестница стояла отвесно, спина шаркала о стену. Наконец, послышалось хлюпанье по воде и голос, как из склепа:

— Лезь, что ли!

Я подтянул выше охотничьи сапоги, застегнул на все пуговицы кожаный пиджак и стал спускаться. Локти и плечи задевали за стенки трубы. Руками приходилось крепко держаться за грязные ступени отвесно стоявшей качавшейся лестницы, поддерживаемой, впрочем, дворником, остав-

шимся наверху. С каждым шагом вниз зловоние делалось все сильнее и сильнее. Становилось жутко. Наконец послышались подо мной шум воды и хлюпанье. Я посмотрел наверх. Мне виден был только четырехугольник голубого яркого неба и улыбавшееся лицо моего второго спутника, державшего лестницу. Холодная, до кости пронизывающая сырость охватила меня. Но вот я спустился на последнюю ступень и, осторожно опуская ногу, почувствовал, как о носок сапога зашуршала струя бегущей воды...

— Спускайся смелей: становись, неглубоко тутока, — глухо, гробовым голосом сказал мне Федя.

Я стал на дно, и холодная сырость воды проникла сквозь мои охотничьи сапоги.

— Лампочку зажечь не могу, спички подмокли, — пожаловался мой спутник.

У меня спичек не оказалось. Он полез обратно. Я остался совершенно один в этом замурованном склепе и прошел вперед по колено в бурлящей воде шагов десять; затем остановился. Кругом меня был страшный подземный мрак. Мрак непроницаемый, полнейшее отсутствие света. Я поворачивал голову во все стороны, но глаза мои ничего не различали. Задев обо что-то головой, я поднял руку и, нащупав мокрый, холодный, бородавчатый, покрытый слизью каменный свод, нервно отдернул ее... Даже страшно стало. Тихо было, только внизу журчала вода. Каждая секунда ожидания рабочего с огнем мне казалась часами. Я еще подвинулся вперед и услышал шум, похожий на грохот водопада. Действительно, как раз рядом со мной гудел водопад, рассыпавшийся миллионами грязных брызг, едва освещенных бледно-желтоватым светом из отверстия уличной трубы. Это оказался сток нечистот из бокового отверстия в стене. За шумом я не слыхал, как подошел ко мне Федя и ткнул меня в спину. Я обернулся. В руках у него была лампочка в пять рожков, но эти яркие во всяком другом месте огоньки здесь казались просто красными звездочками, без лучей, ничего почти не освещавшими, не быв-

шими в состоянии побороть и на метр вокруг себя этого мрака. Мы пошли вперед по глубокой воде, обходя по временам водопады стоков с улиц. Вдруг страшный грохот, будто от рушащихся зданий, заставил меня вздрогнуть. Это над нами проехала телега. Я вспомнил подобный грохот при моем спуске в туннель артезианского колодца, но здесь он был несравненно ужаснее. Потом все чаще и чаще над моей головой гремели экипажи, и так страшно отдавался этот гром в подземельи, что, хотя я и знал — он для меня не опасен — мне все-таки становилось жутко. С помощью лампочки я осматривал по дороге стены подземелья, сырые, покрытые густой слизью. Мы долго шли, местами погружаясь в глубокую тину или невылазную, зловонную жидкую грязь, местами наклоняясь, так как заносы грязи были настолько высоки, что невозможно было итти прямо, во весь рост, приходилось нагибаться, и все же при этом я задевал головой и плечами свод, а ноги проваливались в грязь, иногда в этой грязи я натыкался на что-то плотное и не проваливался. Но рассмотреть, что это такое, было нельзя, так как все заплыло жидкой грязью, да и времени для такого осмотра не оставалось.

Дошагали в этой вони до первого колодца и наткнулись на спущенную лестницу. Я поднял голову вверх, обрадовался голубому небу и голосу:

— Ну, целы! Вылазь! — загудел сверху дворник.

— Федя, мы пройдем еще один пролет.

— Ну-к, што ж, уж глядеть, так глядеть.

Я дал распоряжение перенести лестницу дальше, через два пролета, и она тотчас поползла вверх — я полюбовался голубым небом, и через минуту, утопая выше колена в грязи, каких-то обломках и уличных отбросах, мы зашагали вперед.

Над нами опять появился четырехугольник ясного неба. Двинувшись дальше, мы наткнулись на возвышение под ногами. Здесь была куча грязи особенно густой, и видимо под грязью лежало что-то... Полезли через кучу, осветив ее

лампочкой. Я ковырнул ногой—грязи оказалось на четверть метра, а под ней как будто что-то мягкое пружинило. Мы перешагнули эту кучу грязи, дальше началась опять жидкая грязь почти по колено. Иногда ноги спотыкались обо что-то плотное под грязью. В одном из заносов под решеткой над колодцем я наткнулся снова на что-то мягкое. При свете лампочки мне удалось рассмотреть до половины засосанный грязью труп громадного дога, повидимому, выброшенного через решетку. Особенно трудно было перебраться через последний занос перед назначенным нами выходом на Трубную площадь, у которого ожидала нас лестница. Здесь была грязь особенно густа, и ноги скользили по чему-то странному, жуткому... О том, что это такое, даже думать боязно было...

Но Федю все-таки прорвало:

— Верно говорю: по людям ходим!

Я промолчал и посмотрел вверх, где сквозь железную решетку сияло яркое, голубое небо. Еще пролет, и нас ждала уже открытая решетка и лестница, ведущая на волю.

— А вдруг?.. Вдруг он не придет!.. Задержали... Заболел... — мелькнуло в голове—и как бы в ответ на федино замечание вспомнилась та злополучная ночь на Цветном бульваре и слова: «Концы в воду».

Но это был один миг—и мы зашлепали дальше... Тут неожиданно нас окатило нечистотами из боковой трубы... Эти последние минуты были самыми жуткими. Но вот показалась полоса света... Лестница была уже спущена... Сверху доносились голоса.

Ежедневно целую неделю после этого путешествия я ходил в баню, остригся догола—и все еще мне казалось, что тело мое отдавало зловонием Неглинки. Мои статьи о подземной клоаке наделали шуму. Городская дума постановила произвести перестройку Неглинки, и дело это было поручено моему знакомому инженеру Н. М. Левачеву, извест-

ному охотнику, с которым я не раз ездил на зимние волчьи охоты. С ним, уже во время работ, я спускался второй раз в Неглинку около Малого театра, где канал делает поворот и где русло было так забито разной нечистью, что вода едва проходила сверху узкой струйкой: здесь и была главная причина наводнений. Наконец, в 1886 году Неглинка была перестроена. Репортерская заметка сделала свое дело. А Федю, моего отчаянного Федю Левачев взял в рабочие, как-то добыл ему паспорт, и он оказался потом лучшим десятником у этого инженера.

Прошли долгие десятки лет. Октябрьская революция перевернула Москву, а Неглинка еще задолго до империалистической войны стала уже вновь пошаливать и заливать во время ливней Неглинный проезд. За десятки лет после переделки Левачева грязь и густые нечистоты опять образовали пробку в повороте канала под проездом около Малого театра. Во время войны наводнение однажды было так сильно, что залило нижние жилые этажи домов и торговые заведения, но сонная хозяйка столицы, городская дума, не принимала никаких мер.

Только в 1926 году взялся за Неглинку Моссовет. Открыв ее, начиная от Малого театра, под который тогда подводился фундамент, до половины Свердловской площади, вновь очистили загрязненную трубу и этим прекратили наводнения.

После этого я как-то раз шел зимой по Неглинному и против Государственного банка увидал посреди улицы деревянный барак, обнесенный забором. Я вошел в него, встретил инженера, производившего работы,— оказалось, что он меня знал и на мою просьбу осмотреть работы изъявил согласие. По середине барака зияло узкое отверстие вниз, из которого торчал конец лестницы. Я попробовал спуститься, но шуба мешала — а упускать случай дать интересную заметку в «Вечернюю Москву», в которой я работал, —

не хотелось. Я сбросил шубу и в одном пиджаке спустился вниз. Знакомый подземный коридор с тускло светившими сквозь туман электрическими лампочками. По всему жолобу был настлан деревянный помост, во время оттепели все-таки заливавшийся местами водой. Работы уже почти кончались, вся густая грязь была убрана и подземная клоака приведена в полный порядок. Я прошел под землей до Малого театра и, продрогши, промочив ноги и нанюхавшись запахов клоаки, вылез по мокрой лестнице. Надев застылую шубу, которая меня не могла уже согреть, я отправился в редакцию, где сделал описание работ и припомнил мое старое путешествие в клоаку. На другой день я читал мою статью уже лежа в постели, при высокой температуре гриппа, от которого я в конце концов совершенно оглох на левое ухо, а потом и правое оказалось поврежденным. Это явилось эпилогом к моему первому подземному путешествию в бездны Неглинки полвека назад...

ДРАМАТУРГИ ИЗ «СОБАЧЬЕГО ЗАЛА»

Все случайно. Все от пустяков—вроде дырки в кармане. А куда однажды такая дырка меня привела! Сколько нового открыла!

В те самые времена, о которых я пишу сейчас, мне запомнился один разговор, основанием которому послужили следующие слова:

—Персидская ромашка! О нет, вы не шутите, это в жизни вещь великая. Не будь ее на свете—не был бы я таким, каким вы меня сейчас видите, а мой патрон не состоял бы в членах общества драматических писателей и не получал бы тысяч авторского гонорара, а «Собачий зал»... Вы знаете, что такое «Собачий зал»?..

— Нет, не знаю.

— А еще репортер известный, — и вдруг «Собачьего зала» не знаете!

Разговор этот происходил на империале вагона конки, тащившей нас из Петровского парка к Страстному монастырю. Сосед мой в свеженькой коломенковой паре, шляпе калабрийского разбойника и шотландском шарфике, завязанном «неглиже с отвагой, а ля чорт меня побери», был человек с легкой проседью на висках и с бритым актерским лицом. Когда я на остановке поднялся по винтовой лестнице на империал, он назвал меня по фамилии и, подвинув-

шись, предложил место рядом. Он курил огромную дешевую сигару, и первые его слова были:

— Экономия: внизу в вагоне пятак, а здесь на свежем воздухе три копейки... И не из экономии я езжу здесь—а вот из-за нее...—И погрозил кому-то дымящейся сигарищей.— Именно эти сигары только и курю... Три рубля вагон, полтора рубля грядка, да-с—клопосдохс, настоящий империал, потому что только на империале конки и курить можно... Не хотите ли сделаться империалистом вдвойне?— И он предложил мне сигару.

— Не курю,—ответил я и показал ему в доказательство табакерку, предлагая понюшку.

— Нет уж, увольте. Будет с меня и домашнего чиханья.

Тут вот он и сказал о персидской ромашке... Потом бросил в затылок стоявшего на Садовой городового окурок сигары, достал из кармана свежую, закурил и отрекомендовался:

— Я—драматург Глазов. Вас я, конечно, знаю.

— А какие ваши пьесы?

— Мои? А вот...

И он перечислил с десяток пьес, которые, судя по афишам, принадлежали перу одного известного режиссера, прославившегося обилием переделок с французского. Этого режиссера я знал и знал, что он автор этих пьес.

— Послушайте, да вы перечисляете пьесы, принадлежащие...—И я назвал фамилию автора.

— Да, они принадлежат ему, а автор их—я. Семнадцать пьес в прошлом году ему сделал и получил за это триста тридцать четыре рубля. А он на каждой сотни наживает да и писателем драматическим числится, хотя собаку через «ять» пишет. Прежде в парикмахерской да за кулисами мастерам щипцы подавал, задаром нищих брил, постигая ремесло, а теперь вот и деньги имеет, и почет, и талантом его считают... В обществе драматических писателей заседает... По каталогу числится за ним больше ста пьес, переведенных с французского, английского, испанского, польско-

го, венгерского, итальянского и пр. и пр. А все они переведены с «арапского»!

— Как же это так? — спросил я.

— Да так: года два назад написал я комедию. Туда, сюда,—не берут. Я—к нему в театр. Не застал. Пошел на дом. Он принял меня в роскошном кабинете: сидит важно, развалясь в кресле у письменного стола.

— Написал я пьесу, а без имени не берут. Не откажите поставить свое имя рядом с моим, и гонорар пополам,— предложил я ему.

Он взял пьесу и начал читать, а мне дал сигару и газету.

— И талант у вас есть, и сцену знаете, только мне свое имя вместе с другим ставить неудобно. Да и к нашему театру пьеса не подходит.

— Жаль.

— Вам, конечно, деньги нужны? Да?

— Прямо жить нечем.

— Ну, так вот переделайте мне эту пьесу.

И он подал мне французскую пьесу, переведенную одним не безызвестным переводчиком, жившим в Харькове.

Я перелистал новенькую, только что процензурованную трехактную пьесу.

— Как переделать? Да ведь она переведена?

— А очень просто: сделать нужно так, чтобы пьеса осталась та же самая, но чтобы и автор и переводчик не узнали ее. Я бы это сам сделал, да времени нет... Как эту сделаете, я сейчас же другую дам.

Я долго не понимал сначала, чего он собственно хочет, и он начал мне способы переделки объяснять, да так образно, что я сразу постиг, в чем дело.

— Ну-с, так через неделю чтобы готовая пьеса была у меня. Неделя—это только для начала, а там надо будет пьесы и в два дня перешивать.

Через неделю я принес. Похвалил, дал денег и еще пьесу. А там и пошло, и пошло: два дня — трехактный

фарс и двадцать пять рублей. Пьеса его и подпись его, а работа целиком моя.

Я заинтересовался, слушал и ровно ничего не понимал.

Вагон остановился у Страстного, и, спустившись с империала, Глазов предложил мне присесть на бульваре, у памятника Пушкину. Здесь он продолжал свой рассказ с увлечением. Я внимательно слушал.

— Как же вы переделывали и что? Откуда же режиссер брал столько пьес для переделки?—спросил я.

— Да ведь он же режиссер. Ну, пришлют ему пьесу для постановки в театр, а он сейчас же за мной. Придешь к нему тайком в кабинет, он все двери позатворяет,—слышу бывало в гостиной знакомые голоса, товарищи по сцене там, а я—как вор. Двери кабинета он сейчас же на ключ, подает мне пьесу — только что с почты — и говорит:

— Сделай к пятнице. В субботу должны отослать обратно. Больше двух дней держать нельзя.

Раз в пьесе, полученной от него, письмо попалось: писал он сам автору, что пьеса поставлена быть не может по независящим обстоятельствам. Конечно, зачем чужую ставить, когда своя есть! Через два дня я эту пьесу перелицевал, через месяц играли ее, а фарс с прочитанным мною письмом отослали автору обратно в тот же день, когда я возвратил его.

Мой собеседник увлекся.

— И сколько пьес я для него переделал! И как это просто! Возьмешь это самое, новенькую пьесу, прочитаешь и прежде всего даешь ей подходящее название. Например, автор назвал пьесу «В руках», а я «В рукавицах», или у автора «Рыболов», а у меня «На рыбной ловле». Переменишь название, принимаешься за действующих лиц. Даешь имена, какие только в голову взбредут, только бы на французские походили. Взбрело в голову первое попавшееся слово—и сейчас его вроде как на французское переделаешь. Маленьких персонажей перешиваешь по-своему:

итальянца делаешь греком, англичанина—американцем, лакея—горничной... А чтобы пьесу совсем нельзя было узнать, вставишь еще какого-нибудь автомата или попугая. Попугай или автомат на сцене, а нужные слова за него говорят за кулисами. Ну-с, с действующими лицами покончишь, декорации и обстановку переиначишь. Теперь надо изменять по-своему каждую фразу и перетасовывать явления. Придумываешь эффектный конец, соль оригинала заменяешь салом, и пьеса готова.

Он сразу впал в минорный тон.

— Обворовываю талантливых авторов! Ведь на это я пошел, когда меня с квартиры гнали... А потом привык. Из-за куска хлеба работаю, а тот имя свое на пьесах выставляет, слава и богатство у него, гонорары авторские лопатой гребет, на рысаках ездит... А я? Расходы все мои, получаю за пьесу двадцать пять рублей, из них пять рублей идет переписчикам... Опохмеляю их, оголтелых, чаем пою... Пока не опохмелятся они, руки-то у них ходуном ходят...

Он долго еще говорил и взял с меня слово обязательно посетить его.

— Мы только с женой вдвоем живем. Она — бывшая провинциальная артистка, драматическая инженю. Завтра я совершенно свободен, заказов пока нет. Итак приходите завтра в час дня.

— Даю слово.

На следующий день я спускался в подвальный этаж домишка рядом с цыганским трактиром «Молдавия», на Живодерке, в квартиру Глазова.

В темных сенцах, куда выходили двери двух квартир, стояли три жалких человека, одетых в лохмотья, четвертый—в крахмальной рубахе и в жилете—из большой коробки посыпал оборванцев каким-то порошком. Пахло чем-то знакомым.

— Глазов! — крикнул я с лестницы.

— А, это вы? Сейчас... Только пересыплю этих дьяволов, — и он принялся бросать горстями порошок за ворот, за пазуху, даже за пояс брюк троим злополучным субъектам.

Несчастные ежились, хохотали от щекотки и чихали.

— Ну подождите теперь, пока все твари не повылезут, — сказал им наконец Глазов и повернулся ко мне: — А мы пойдем. Пожалуйте.

И он отворил передо мной дверь в свою довольно чистую квартиру.

— Что это за история? — спрашиваю я.

— Переписчики пришли, — серьезно ответил мне Глазов. — Заказ принесли срочный.

— Так в чем же дело?

— Персидской ромашкой я их пересыпаю... Без этого их нельзя пустить... Извините меня... Я сейчас оденусь.

Он накинул пиджак.

— Эллен! Ко мне мой друг пришел... Писатель... Приготовь нам закусить... Да иди сюда.

— Я не одета.

Из спальни вышла молодая особа с папильотками в волосах и следами грима и пудры на усталом лице.

— Моя жена... Стасова-Сарайская... Инженивая драматю.

— Ах, Жорж! Не может он без глупых шуток! — улыбнулась она мне. — Простите, у нас беспорядок. Жорж возится с этой дрянью, с переписчиками... Сидят и чешутся... На сорок копеек в день персидской ромашки выходит... И ничего не поделаешь, — без нее такой зоологический сад из квартиры устроят, что сбежишь... Они из «Собачьего зала».

Глазов перебил ее:

— Да. Великое дело — персидская ромашка. Сам я это изобрел. Сейчас их осыплешь-и в бороду, и в голову, и в белье, у которых оно есть... Потом полчасика подер-

жишь в сенях, и все в порядке: пишут, не чешутся, и в комнате чисто...

— Так, говорите, без персидской ромашки и пьес не было бы?

— Не было бы. Ведь переписчиков в квартиру пускать нельзя без нее... А народ они грамотный и сцену знают.— Некоторые—бывшие артисты... В два дня пьесу стряпаем: я — явление, другой — явление, третий — явление, и кипит дело... Эллен, ты угощай завтраком гостя, а я займусь пьесой... Уж извините меня пока... Завтра утром сдавать надо...

Мы вошли в комнату рядом со спальней, где на столе стояла бутылка водки, а на керосинке жарилось мясо.

В декабре стояла сырая, пронизывающая погода; снег растаял, оставив повсюду лужи, по отвратительным московским мостовым проехать невозможно было ни на санях, ни на колесах.

То же самое было и на Живодерке, где помещался «Собачий зал Жана де Габриель». Населенная мастеровым людом, извозчиками, цыганами и официантами, улица эта была весьма шумная и днем и ночью. Когда все заведения с напитками закрывались на ночь и охочему человеку негде было достать живительной влаги,—он шел на эту самую улицу и удовлетворял свое желание в «Таверне Питера Питта».

Так называлась винная лавка Ивана Гаврилова на языке обитателей «Собачьего зала», состоявшего при «Таверне Питера Питта».

По словам самого «Жана Габриеля», он торговал напитками по двум уставам: с семи часов утра до одиннадцати вечера — по питейному, а с одиннадцати вечера до семи утра — по похмельному.

Вечером в одиннадцать часов лавка запиралась, но зато отпиралась каморка в сенях, где стояли два громадных

сундука—один с бутылками, другой с полубутылками. Торговала ими «бабушка» на вынос и распивочно в «Собачьем зале». На вынос торговали через форточку. Покупатель стучал с заднего двора, молча совал деньги и молча же получал бутылку. Форточка эта называлась «шланбой». Таких «шланбоев» в Москве было много: на Грачевке, на Хитровке и повсюду на окраинах. Если ночью надо достать было водки, шли прямо к городовому, спрашивали, где достать, и он указывал дом:

— Войдешь в ворота, там шланбой, занавеска красная. Постучи, и форточка откроется.

За это указание городовому платили гривенник или давали глотнуть из бутылки.

Возвращаясь часу во втором ночи с Малой Грузинской домой, я скользил и тыкался на рытвинах тротуаров Живодерки. Около одного из редких фонарей этой цыганской улицы меня кто-то окликнул по фамилии, и через минуту передо мной вырос весьма отрепанный небритый человек с актерским лицом. Черты лица были знакомы, но никак не мог припомнить, кто это.

Он назвался.

— Запутался, брат, запил. Второй год в «Собачьей зале» пребываю. Сцену бросил, переделкой пьес занимаюсь.

Я помнил его молодым человеком, талантливым начинающим актером—и больно стало при виде этого безнадежно опустившегося бедняка: опух, дрожит, глаза слезятся.

— Водочки бы,—нерешительно обратился он ко мне.

— Да ведь поздно, а то угостил бы.

— Нет, что вы! Пойдемте со мною, вот здесь, рядом... Пойдемте!

Он ухватил меня за рукав и торопливо зашагал по обледенелому тротуару. На углу переулка стоял деревянный двухэтажный дом и рядом с ним, через ворота, освещенный фонарем старый флигель с казенной зеленой вывеской «Винная лавка».

Мы остановились у ворот.

Актер стукнул в калитку.

— Кто еще?—прохрипели со двора.

— Сезам, отворись,—ответил мой спутник.

— Кто?—громче повторили со двора.

— Шланбой.

По этому магическому слову калитка отворилась, и мы прошли мимо дворника в тулупе, с громадной дубиной в руках, на крыльцо флигеля и очутились в сенях.

— Держитесь за меня, а то загремите,—предупредил меня спутник.

Роли переменились: теперь я держался за его руку.

Он отворил дверь. Пахнуло теплом, ужасным, зловонным теплом жилой трущобы.

Перед нами открылась картина, достойная описания: маленькая комната, грязный стол с пустыми бутылками, освещенный жестяной лампой, налево громадная русская печь,—помещение строилось под кухню,—а на полу вповалку спало более десяти человек обоего пола, вперемежку, так тесно, что некуда было поставить ногу, чтобы добраться до стола.

— Вот мы и дома,—сказал мой спутник и вдруг заорал диким голосом:—Проснитесь, мертвые, восстаньте из гробов. Мы водки принесли.

Кучи лохмотьев зашевелились, послышались недовольные голоса, ругань.

А он продолжал:

— Мы водки принесли!

И полез на печь.

— Бабка, водки!

— Ишь вас носит, дьяволы-полуночники, покоя вам нет...—заворчала старуха.

— Аркашка, ты? — послышался с печи еще и другой мужской голос.

А с полу вставали люди, протирали глаза, бормотали:

— Где водка?..

— Дайте, черти, воды! Горло пересохло,—стонала полураздетая женщина с растрепанными волосами, матово-бледная, с синяком на лбу.

— Аркашка, кого привел?.. Карася?

— Да еще какого, бабка... Водки!

С печи слезли грязная, морщинистая старуха и оборванный актер, усиленно старавшийся надеть пенснэ с одним стеклом: другое было разбито, и он закрывал глаз, против которого отсутствовало стекло.

— Тоже артист и автор,—отрекомендовал его Аркашка.

Я рассматривал комнату. Над столом углем была нарисована нецензурная карикатура, изображавшая человека, который, судя по его лицу, много любил и много пострадал от любви, под ней была подпись:

«Собачий зал Жана Габриеля».

Там жили драматурги, артисты, работавшие на своих безграмотных хозяев, пользовавшихся славой и всеми радостями жизни.

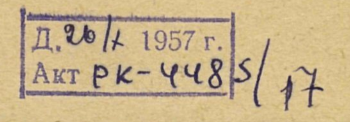
Москва — Картино
Лето 1932 года

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая

Часть вторая

Часть третья



ОБЛОЖКА РАБОТЫ ХУДОЖНИКА ИКСОВА

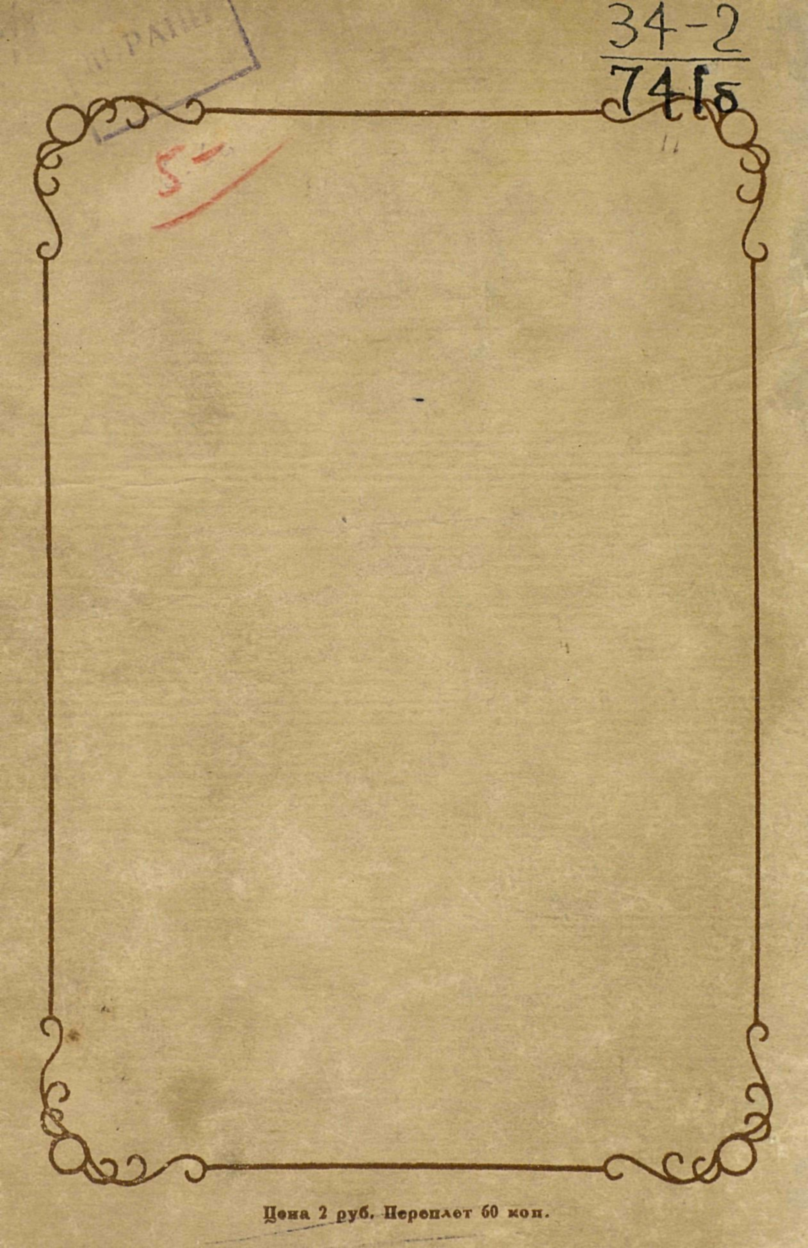
Отв. редактор Е. Трощенко. Уполномоченный Главлита № В—71891.
Тех. редактор А. Макеев. Сдана в производство 2/XII—33 г. Подписана к печати 5/III—34 г. Бумага 72 × 110/32. Печ. листов — 14½. С. Л. № 53
Тираж 7 000

Типография газ. „Правда“, Москва, ул. Горького, 48. Заказ № 3312.


5—







Цена 2 руб. Переплет 60 коп.